

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> приятного чтения!

Страх. Даниил Александрович Гранин

Эссе.

Это заметки про страх. О том, какое большое место в моей жизни занимал Страх, сколько прекрасных порывов души погасил он в жизни моего поколения, сколько он извратил в характере, как он обессиливал, какие горькие воспоминания он оставил. На нашем веку страх занимал слишком большое место. Мне захотелось расчитаться с этим чувством, попробовать взглянуть ему в глаза, не уклоняться, а спокойно рассмотреть, что это за штука.

Действительность большей частью не настолько ужасна, как возможности страха, которые мы сами изобретаем и расписываем до гигантских размеров. Жизнь в страхе у многих людей длилась годами, съедала лучшую пору. Все силы уходило на борьбу с воображаемыми угрозами, одолеть их не удавалось. В том-то и кошмар, что они непобедимы. Я поразились, до чего много их было и продолжает появляться. Когда же случается то, чего ждешь, можно, наконец, бороться не с призраками, это куда отраднее.

С детства, со школьных лет, некоторые страхи сопровождали меня десятилетиями. Были страхи на войне. Я не считаю обычных житейских переживаний за близких людей, за свою работу. Это обязательная принадлежность любой жизни. Меня больше занимали те страхи, которые теперь, спустя годы, вызывают стыд и раскаяние. Те, что были приметой времени, что калечили судьбы миллионов, и те, что продолжают хватать за горло, подстерегать моих детей и внуков.

Страх можно определить как ожидание зла. У страха есть, как у каждого чувства, своя иерархия – ужас, боязнь, стыд, потрясение, испуг, мучение. Древние греки давали следующие определения:

Ужас – страх, наводящий оцепенение.

Стыд – страх бесчестия.

Робость, боязнь – страх совершить действие.

Испуг – страх, от которого отнимается язык.

Мучение – страх перед неясным.

Страху подвержен весь животный мир, страх спасает, оберегает, позволяет выжить. Человеку же приходится переживать еще страхи, свойственные только ему. Это прежде всего безотчетный страх-тоска, идущая, может, от того Ничто, что было до нашего появления, и того Ничто, что поглотит нас. Не отчетливая мысль, которую можно чем-то утешить, а подсознательный ужас перед безмерностью этой тьмы. Душа как бы оказывается на границе между бытием, которое постоянно устремлено вперед, имеет будущее, и концом будущего. Перед ничтожностью существования.

Страх возникает не от того, что это предстоит, а от того, что это нельзя осмыслить. Так человек, подойдя к пропасти, боится «не того, что он может упасть, а того, что может броситься в нее» (Сартр).

Страх и любовь всегда вместе. Любовь к жизни, воля к жизни не могут быть без страха потерять жизнь. Человек любит наслаждения жизни и боится потерять их. Боится лишиться своего здоровья, своей чести. Сильнее этих страхов страх потерять своих детей, близких, ради них он готов жертвовать собою. Это выражение высшей любви. Страх постоянно сопровождает любовь, как тень.

Существует множество страхов – естественных, как бы здоровых, страхов индивидуальных, патологических. Страх перед толпой, страх стать импотентом, страх политика потерять популярность... Страхи определяют время, историю и личность: скажи мне, чего ты более всего боишься, и я скажу, кто ты. Человек, лишенный страха, был бы страшен.

Осмыслить природу страха во множестве ее видов – дело философов и психологов, я всего лишь хочу рассказать о том, что испытал сам и что испытывают люди вокруг меня.

I

Теперь он был удачливый бизнесмен. Чего-то покупал, потом это чего-то где-то продавал. А раньше он был партийный начальник. Он работал в местах моего детства. Он был секретарь обкома. Третий. Но все равно большой начальник, то

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
есть ему подавали машину, он имел «вертушку» – особый телефон – и много власти. Звали его Федор Алексеевич. В новом своем качестве он отрастил бороду и носил крест.

Познакомились мы в одном санатории. Гуляли вместе, вспоминали новгородские леса, морошку, глухие деревушки. Семья наша жила тогда в районном центре, в Лычкове. Неподалеку от нашего дома стоял двухэтажный дом с железными решетками на окнах нижнего этажа. Мне интересен этот дом был тем, что по вечерам там всегда горел свет. Я зачитаюсь до глухой ночи, выйду в уборную, во двор, всюду тьма-тьмуца, а там два-три окошка светятся. Я спрашивал отца – чего там делают? Снизив голос, он отвечал хмуро – «шпионов ловят». Больше ничего от него не добился. Как ловят, каких таких шпионов. Звучало привлекательно, но вот что интересно, мы, мальчишки, почему-то обходили этот дом стороной, в окна не заглядывали, в сад ихний не лазили и даже между собою не говорили про этот дом. Какая-то опасность окружала его. Тогда это учреждение называлось ОГПУ. Люди, которых туда привозили, – исчезали. О них говорили шепотом.

Ныне, спустя полвека с лишним, спросил я у Федора Алексеевича про то районное отделение, что за шпионов оно ловило? Разве могли добраться шпионы до нашего затерянного в лесах Лычкова, если про эту глухомань слухом никто не слыхал. Кого там ловить, чего там шпионить?

Сперва на это Федор Алексеевич ответил, что понятия не имеет, чем они там занимались, он хоть и начальство, но это учреждение перед ними не отчитывалось и дела свои не открывало. И вообще, чем больше знать, тем хуже спать.

– Известно, что на район присылали цифры. Я ведь тоже понаслышке знаю. И на ваше Лычково, наверное, норма полагалась – сколько раскулачить, сколько сослать, сколько арестовать. Порядок был.

– Ради чего?

– Классовая борьба... – он поморщился. – Это теперь мы видим все по-другому.

И в шпионов верили? Не такие же дурни кругом были. Какие могут быть в Лычково шпионы? Ну, хорошо, раскулачили, а потом чем занимались? Целое учреждение. Свет жгли, бумагу изводили, здоровые мужики, зачем их на пустой службе держали?

Федор Алексеевич только посмеивался.

– Это же годами длилось. Десятилетиями. Никаких результатов. Вы-то почему терпели этот абсурд?

Все же я его достал. Он рассердился.

– Не такой уж абсурд. Дисциплина была. Все, что прикажем, – выполняют. Нам с руки было. А все потому, что они в каждом районе сидели, свет жгли. Нам вникать незачем было. Мы понимали – они страх изготавливают. А мы пользуемся их продукцией. Отделения страха по всей стране работали... Они и нас пасли. Страх был, и управлять было легче. А сейчас чем припугнуть? Нечем! Народишко перестал бояться. Это же беда. Вы про себя вспомните, разве вы не боялись?

– Чего?

– Ха, в том-то и дело, – Федор Алексеевич хитро сощурился, засиял от удовольствия, погладил рыжую бородку. – Неизвестно чего! Просто человек в страхе пребывал. Придут и схватят. Выставят на улицу. В голом виде. И не скажут, за что. Мало ли какие картины рисовал. Я по себе знаю. В этом состоянии человек всего боится. Начальник не так посмотрит, уже мандраж начинается. Догадайся сам, по какому поводу. Кто донес? Кто-то ведь донес? Ведь было так! Небось, подозревали всех кругом, вглядывались?

Он был совсем не прост, этот бывший секретарь. Но не умнее Системы: она создавалась усилиями тысяч таких как он и с годами достигла высокого совершенства.

– Для чего нужна была такая большая партия, – говорил он, – шутка ли, восемнадцать миллионов! Членство в партии ничего особого не требовало. Плати

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
взносы – и все дела. Хитрость в другом состояла. Каждого члена партии мы могли в случае чего припугнуть. Будь любезен, голубчик, отправляйся, допустим, на лесозаготовки. Ах, не хочешь, тогда билет положишь на стол. А что такое исключение из партии? Это конец, гражданская казнь! Вы же знаете, одно дело быть беспартийным, другое – исключенным из партии. Карьера прервана, и оставь всякие надежды. Сколько исключенных кончали с собой.

Чем дальше, тем с большим увлечением, даже восторгом расписывал он гибкость и силу механизмов устрашения.

– Вы могли бы преподавать анатомию страха, – сказал я. Он посмотрел на меня без улыбки, взгляд начальника, не поймешь, дошло до него или нет.

На следующий день он сам напросился на разговор:

– Анатомия страха, это вы хорошо назвали. Вот вам еще урок этой анатомии. Анкета. Над нашими анкетами теперь смеются. Сколько там было вопросов. Про родителей, про жену, детей, родителей жены. Зачем, спрашивается? Работника надо выбирать не по анкетам, а по деловым качествам. Как будто мы сами не знали! Молодежь насмехается, смотрят свысока на советское прошлое. Порядка же навести не могут. И не наведут. Без страха им не справиться. А страху нет. Не хватает. У нас была создана, отлажена почти научная система поддержания страха. Тоталитарный режим создал тоталитарный страх. Нам не долларов не хватает, нам страха недостает. Разрушили нашу систему... Так вот насчет анкет. Вопросы не такие дурацкие были. Наша задача – выловить грешки; за каждым имеются грешки. Каждый прячет какое-нибудь говнецо. Один когда-то проворовался, у него судимость, другой скрыл отца-вредителя, у третьего – жена с родственниками за границей. Такие люди, к вашему сведению, – самые ценные. Иной думает, что если у него анкета чистая, то он кум королю, ему все дороги открыты. Ан нет. Еще раз нет. Нам куда лучше было иметь замаранного. Он стараться будет изо всех сил. А уж если он чего скрыл, то крепче всех на крючке сидит. Мы ему чуть-чуть намекнем – и достаточно. Компроматика – самый ценный кадр. Компроматик – это тот, на кого есть компрометирующий материал. Компроматик – человек обязательный, исполнительный. Главное же его качество – он вам предан, он вам верно служит, потому как он у вас в руках, вы его в любой момент огласите, и все, спекся мужик. Втайне он вас ненавидит, но будет за вас стараться, подвоха от него не предвидится. Страхом надо умело пользоваться, человек благодаря страху способен творить чудеса и подвиги!

Вдохновленный моим вниманием, он рассказал мне историю одного своего коллеги, партийного деятеля, который сделал головокружительную карьеру. От простого инструктора добрался до секретаря обкома, затем поехал в Москву в Высшую партшколу, кончил ее, пробился в аппарат ЦК партии и дошел до члена Политбюро, то есть до наивысшей власти. А секрет заключался в том, что семья его раскулачена была, выслана в Сибирь, и он оттуда завербовался на стройку. Скрыл факт раскулачивания. Чего-то там напридумал. По мере продвижения вверх откопали истину, но кадровик не закладывал его. Ему везло, он ставил на кого надо. Короче, вошел в ЦК, оттуда в Политбюро, где пребывал на первых ролях. Выступал, учил, вдохновлял, исправлял положение в деревне, в идеологии, в культуре. Когда партия рухнула, казалось, погребла его под своими развалинами, вместе с другими вождями. Прошел год, другой, и вдруг он появляется, выступает уже в роли пострадавшего – у него, видите ли, родители были раскулачены. Он жертва советского режима, сталинизма, он и есть истинный борец за демократию.

– Я встретился недавно с ним. Он мне признался, что, рассказав о своих родителях, испытал облегчение, давняя тяжесть свалилась с него. Но я сказал ему, что, может, не будь этой тяжести и страха, у него не хватило бы энергии добраться до вершин. Страх придает силы. Нельзя думать, что страх – это только плохо. Страх заставляет человека проявить такие способности, о которых он и не подозревал. У нас во время пожара кассирша схватила сейф и вытащила на улицу. Потом мы вдвоем, мужики, еле подняли его.

Судя по всему, он был специалист, умел пользоваться оружием страха.

Угроза получить взыскание действовала в партии безотказно. Самой же страшной были слова – «положишь партбилет на стол!» Эта волшебная фраза, с помощью которой осуществляли свою власть функционеры, заставляли трудиться через силу, надрываться, терпеть хамство, исполнять любые абсурдные распоряжения.

Время от времени происходили партсобрания, на которых разбирали персональные дела. Кого-то прорабатывали, давали ему выговор или исключали. То были страшные судилища. Страшные прежде всего для обвиняемых...

Воспоминания нахлынули на меня. В самом деле, какое место в нашей жизни занимал страх?

II

В 1931 году на сценах советской страны появилась пьеса Александра Афиногенова «Страх». Она была посвящена силе этого страха, который нарастал в советской жизни. Постановка этой пьесы была возможна, поскольку репрессии еще не стали массовыми, идеологическая цензура имела границы. Спектакль пошел с успехом по многим театрам, пока власти не спохватились.

Главный герой пьесы профессор – физиолог Бородин произносит на собрании речь о страхе, которая в те годы стала знаменитой. Стоит процитировать хотя бы часть ее: «...Молочница боится конфискации коровы, крестьянин – насильственной коллективизации, советский работник – непрерывных чисток, партработник – обвинений в уклоне, научный – обвинений в идеализме, работник техники – обвинений во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отказываться от матери, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения. Страх ходит за человеком... Мы все кролики перед удавом. Можно ли после этого работать творчески? Разумеется, нет».

Меня поразило, что в 1929–1930 годах, когда писалась пьеса, уже сложилась и действовала тотальная система страхов. Год от года она нарастала. Кончились чистки, появились «вредители», «идеологические диверсии», «враги народа», персональные дела. В начале тридцатых, оказывается, уже гибельность системы страхов была осознана.

Бородина беспокоят препятствия для творческой работы. Страх подавлял ученых, наука наша до войны мало чем могла похвастаться, только с началом атомных работ физика, а за ней и прочие точные науки были амнистированы, сделаны неприкасаемыми и обрели лихорадочно интенсивную жизнь.

Эпопея с лысенковщиной еще до войны привела к разгулу репрессий в генетике, за ней и в других разделах биологии, в агрономии. Ведущих ученых арестовывали, ссылали, расстреливали, некоторые кончали с собой.

На самом деле физика вовсе не стала островом безопасности. Мало кто знает, что перед испытанием первой советской атомной бомбы была создана вторая команда физиков, «дублиеры» курчатовской команды. В случае неудачи курчатовскую группу следовало репрессировать и новой команде продолжить работы. Подобный дублиаж создавал соответствующую атмосферу и для Курчатова, и для его помощников. Работы над атомной бомбой не случайно курировал Берия – министр внутренних дел, главный каратель страны.

Страх не способствовал поискам и находкам ученых физиков. Если им что и помогало, так это желание защитить страну от американского атомного диктата. Обстановка величайшей секретности царил на советских объектах, примерно так же как и в Лос-Аламосе у Оппенгеймера. Секретность в науке всегда мешает. Призраки шпионажа бродили вокруг лаборатории. Шпиономания привела в США к казни четы Розенбергов. Посажены были десятки людей. Хотя, как теперь выяснилось, это нисколько не остановило работу наших шпионов. Сведения из Лос-Аламоса продолжали поступать нашим физикам, и они достаточно умело пользовались американскими данными.

В физиках нуждались, им давали поблажки, зато в других науках царил террор. Репрессии захлестнули генетику, физиологию, агрономию. Сотни ученых, тысячи агрономов изгонялись, лишались работы.

Профессора Московского университета, выдающегося физиолога растений Д. А. Сабинина затравили, в 1951 он застрелился. Репрессиям подвергли геологию. Затем началась «борьба с низкопоклонством», которая перешла в кампанию «против

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
космополитизма». Изничтожали литературоведение, критику, филологию.

Профессор Бородин в пьесе Афиногенова не представлял себе, как будет расти страх, какие формы он примет, масштабы этого трепета, ужаса. Черные списки превосходили все, что было в российской истории.

Аресты, расстрелы 1937–1938 годов перешли в подавление всякого своемыслия.

Лысенковщина торжествовала победу. Лженаука должна была показать всем, что идеология выше истины, что интересы политики важнее интересов науки. В итоге фанатик, мракобес Лысенко чувствовал себя на коне, противники были уничтожены, все остальные не смели поднять головы. Примерно то же происходило и в других науках, там возникали свои идеологические обскуранты, они громили «идеалистов», «антимарксистов» и утверждали тем самым свое лидерство. В физиологии, разгромив школу Орбели, утвердился Быков, в литературной критике Ермилов, Грибачев, в драматургии Сафонов, Суров. Бал правили громилы, лютые гангстеры науки, искусства. Чего стоил шабаш, который творили среди художников Александр Герасимов и Владимир Серов. Странно совпали их фамилии с настоящими художниками – Сергеем Герасимовым и Валентином Серовым, словно какая-то дьяволиада морочила людей.

Россияне жили в условиях повышенного страха уже больше 70 лет. Одни страхи сменялись другими, все более массовыми, грозными. Родители передавали их детям, дети своим детям. Войны, революции, репрессии – три эти главных страха сопровождали жизнь людей, выводили из строя самых активных, талантливых, шла селекция, отрицательная селекция, сохранялись посредственности, робкие, покорные.

Дети, окруженные запретами, ложью, становились неуверенными в себе, у них атрофировались многие желания.

Чтобы восстановить генетически здоровое полноценное общество, с нормой талантливых, энергичных людей, требуется снизить уровень страхов, уменьшать их в течение хотя бы нескольких десятилетий, то есть самое меньшее два поколения должны прожить спокойно, в правовом режиме демократического государства.

III

Любопытно, что такое всеобщее, древнейшее чувство, как страх, мало исследовано. Наиболее глубоко оно было обмыслено экзистенциалистами – философами Сартром, Хайдеггером, Кьеркегором.

Страх и страхи занимают постоянно место в повседневном сознании человека. Страх не сводится только к отрицательной эмоции в результате опасности, мнимой или реальной.

Казалось бы, страхи историчны. Были первобытные страхи, языческие, страхи средневековые, страхи мистические. И тем не менее просвещение, науки никак не влияют на их жизнь.

Страхи не эволюционировали. Они мало видоизменялись. До сих пор существуют черти, бесы, летают ведьмы, появляются привидения, бродят призраки, водятся русалки и водяные. Кто-то наводит порчу. Детям читают все те же сказки, и в сказках все те же драконы, действуют лешие, Бабы-Яги и Кошки Бессмертные. Страхи не умирают, они наращиваются. Так же, как болезни. Чума не исчезла, зато появился СПИД.

Темнота страшит по-прежнему, вдобавок появился страх перед невидимой, неслышной радиоактивностью. Дождь может быть радиоактивным, и грибы, что укромно растут в березняке, и зелень, и мясо животных. Тиканье счетчика Гейгера чудится повсюду.

Наша цивилизация может похвастать, что она создала нечто особое, высшее в иерархии физических и воображаемых страхов, страх, которого никогда не знали на Земле, – страх уничтожения всего живого. Не в духе Апокалипсиса, а вполне научный, подкрепленный физическими формулами.

Что означает атомная война, мы узнали в Нагасаки и Хиросиме. Мгновенная вспышка

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
испаряет все живое. Иногда от людей остаются слабые тени, отпечатанные на камне. Ни праха, ни могил – все улетучилось. Перед миром предстала в подробностях картина того, как в результате атомной войны современное человечество исчезает.

Прошлые ужасы – чума, мор, землетрясение – не открывали такой тотальной возможности, осознать новую угрозу было невыносимо.

Умирает личность, остается память о ней, дети, внуки, дела. Ужас смерти как-то смягчен. «Я» исчезает не полностью. Какое-то время оно еще живет среди окружающих. Переходит в жизнь потомков. Так или иначе, «весь я не исчез». Люди умирали, человечество оставалось. Моя жизнь в нем не кончилась. Будет могила, на которую будут приходиться потомки.

Доказано, что атомная война приведет к полному уничтожению нынешней цивилизации, возможно, и всего живого. Впервые человечество столкнулось с возможностью всеобщей гибели. Ужас этой угрозы был страшнее всех страхов, созданных религиозными представлениями. Религии не обрывали нить жизни. Атомная война вместе с жизнью уничтожала память, историю и самого Бога.

Ад был начинен всевозможными ужасами. С детства я любил часами разглядывать картины Босха и Микеланджело, живописные подробности того, что ожидает грешников. Рай был ясен и в общем-то скучен своим благополучием. Его изображения не отличались разнообразием. Цветущие сады, тигры, которые пасутся рядом с овечками. Зато картины пыток, адских терзаний не повторялись. Чего только не придумывал Босх! Чудовища поедают людей, превращают их в уродов. В подполье живут ханжи вместе с крысами. Блуд с животными рождает химер. Грешников поджигают, ломают, делают им коротенькие ножки, огромные носы-клювы, их поедают...

На картинах Босха действуют множество придуманных им существ, предметов, над которыми властвует Сатана, его арсенал, его мир, из которого возникал страх того времени. Адские уловки Сатаны полны изобретательности. Отец лжи варит кашу, по словам Кальвина, из хитроумных обманов. Босх сумел воплотить неуловимость страха в реальные сцены, сценки, как бы заснял документально, как хозяйничает злобное воинство демонов.

И Лютер, и Кальвин, и святой Фома – все убеждены были во всеисилии Сатаны, в его неисчерпаемых возможностях. Бороться с ним в одиночку почти невозможно. «Человек не представляет, с каким врагом он имеет дело, насколько он силен и ловок в борьбе, насколько он вооружен» (Кальвин).

Человек находился между страхом собственных греховных соблазнов и страхом пагубных козней помощников Сатаны.

IV

У каждого человека происходит смена страхов. Первые детские страхи темноты, страх потеряться, страх перед животными, перед ссорой взрослых – уходят с возрастом. В отрочестве у меня возник страх смерти. Не моей, я увидел, что люди умирают, значит умрут и мои родители, открытие это пронзило меня, я стал всматриваться в их лица. Как они старели. У отца появилась лысина. Неужели мир вокруг меня, так прекрасно устроенный, не прочен? Невозможно было представить смерть близких.

Много позже у своей дочери, когда ей было лет десять-двенадцать, я почувствовал страх, безотчетный, панический, перед Временем. Однажды, не вытерпев, она призналась: «Я не хочу расти!» Она не хотела взрослеть. Я замечал, как боязливое это чувство не отпускает ее – нежелание отдаться потоку времени. Я вспомнил свой страх утраты окружающего мира. У нее было то же самое, она понимала, что, вырастая из детства, она должна оставить там куклы, косички, покой маленькой кровати, сказки перед сном. Желание сохранить тепло детства, бесконечность детской жизни выступило подсознательно как инстинктивное прозрение о том, что это лучшая, золотая часть жизни.

Пугающая работа времени, чем дальше, тем чаще, слышится сквозь шум обыденности. В иерархии страхов приближение конца должно было бы занять одно из первых мест.

Религия отчасти смягчает ужас прихода Ничто. Вера в Бога – прежде всего вера в

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
бессмертие. Бог – создатель бессмертия. Поэт Теннисон говорил: «Если бессмертия нет, тогда не бог, а насмешливый бес сотворил нас». И Лютер выразился в том же духе: «Если вы не верите в будущую жизнь, то я и гроша не дам за вашего бога».

В совершенном мире главной функцией Бога остается гарантия личного бессмертия. Конец веры в будущую жизнь будет означать конец этического поведения в этой жизни, торжество ужаса, страха и вседозволенности. Герой Достоевского считал, что если Бога нет, то все дозволено.

Казалось бы, это неопровержимо. Между тем, нравственное поведение питается и другими источниками. Неведомыми нам, скрытыми.

Подавляющее большинство ленинградцев в годы войны, в блокадном городе, были неверующими. Религия в Советском Союзе была вытеснена из жизни. Ленинград в этом отношении считался «передовым» городом. Поведение жителей в условиях голода, обстрелов, пожаров, лишенных тепла и света, словом, в безнадежных условиях тем не менее отличалось, как правило, высокой жертвенностью и состраданием. Люди помогали друг другу из последних сил. Поднимали упавших от голода на улице, вели домой, поили кипятком, делились крохами хлеба. Работая над «Блокадной книгой», мы, с моим соавтором А. Адамовичем, сталкивались со множеством подобных фактов и всякий раз допытывались: нравственное поведение в этих запредельных условиях – чем оно вызывалось? Не религия, не страх Божий заставляли людей действовать, казалось бы, вопреки интересу самовывживания. Чем диктовался их альтруизм? Оказывается, не все было дозволено, действовали еще какие-то сокровенные нравственные законы, какие-то требования совести, которые живут в душе человека независимо от его веры или безверия.

Блокадная жизнь сдернула покровы душевных переживаний, сокровенные чувства обнажились. Смерть стала обыденностью, ее было кругом слишком много, страх перед ней притупился, человек как бы свыкся с мыслью о своем умирании, которое происходило с ним постепенно, день ото дня. Он видел, как он умирает, как тончают его руки, обтягивается лицо, слабеют ноги. Но по дороге к смерти вырастали другие страхи, например, потерять карточки, по которым давали хлеб. Страх оставить детей, родителей без помощи – кто пойдет за водой, кто растопит печь. Мы открыли удивительный закон блокадного города: спасались те, кто спасали других. То есть большей частью спасались именно они. Страх за близких заставлял их, умирающих, двигаться, заботиться, и это помогало им держаться. Многие из них тоже умирали, но во всяком случае – умирали не расчеловечиваясь, и жили из последних сил, вопреки всем законам биоэнергетики.

Я написал «Страх заставлял» – так ли это? Может, правильнее было бы написать: «Любовь заставляла их». Страх и любовь соединялись в единое чувство. Не случайно в русском языке такое соединение чаще всего выражается понятием – «жалость» Оно связано с любовью, с заботой, со страхом. За своих близких.

То, что может в дом попасть бомба или снаряд, было не так страшно, как если не удастся растопить печку, найти дрова.

Труп маленькой дочери мать положила между окнами, потому что не было ни сил, ни возможности похоронить ее; так он лежал всю зиму, и мать и сын жили в этой комнате – и ничего не боялись.

V

В годы войны понятие страха смещалось, перерождалось. Почти четыре года на фронте резко изменили для меня соотношение ценностей. Став офицером, я стал меньше думать о собственной гибели. Ответственность за своих солдат заменила заботы о своей личной безопасности. Мне надо было под обстрелом пройти на передний край, некогда было ползти, пережидать в воронке. Надо было спешить. Приходилось, не считаясь с пулями, высматривать в бинокль, что творится у противника. Зато появились другие страхи. Я помню, как переживал нагоняй от начальства. Наш командир полка мог так наорать, такую устроить выволочку, что после этого все становилось нипочем. Командиры рот шли в безнадежные атаки, продолжали держать позиции, хотя явно следовало отступить. Дело было не в дисциплине, но в каком-то высшем страхе перед командиром. Воинская нерассуждающая дисциплина, которую так тщательно воспитывают в кадровых частях, к нам отношения не имела, мы были не кадровые военные, мы пришли в армию из

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
ополчения, добровольцами. Наш страх был иной природы Недаром в танковой моей части распевали песню, неизвестно кем сочиненную:

Болванкой попало танку в лоб,
Механика-водителя загнало прямо в гроб.
От второй болванки лопнула броня,
Мелкими осколками поранило меня.
Третья болванка попала в бензобак,
Вырвался из танка я сам не знаю как.

Наутро вызывают в особый наш отдел:
«Что же ты, мерзавец,
вместе с танком не сгорел?»
«Товарищи начальники, – я им говорю, –
В следующей атаке обязательно сгорю».

Все в этой песне правильно. Был приказ, по которому подбитый танк, даже горящий, экипаж не имел права покинуть, надо было получить по рации разрешение командира полка. За неисполнение – расстрел. Так что в песне с командиром машины обошлись еще милостиво.

Мы утешали себя на фронте поговорками типа: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». И все же очевидность эта не действовала. Казалось бы, чего бояться? Между тем главные страхи, главные конфликты разворачивались внутри части. Куда больше чувств страха, злобы, ненависти испытывали перед представителями особых отделов, бездарными командирами, чем перед противником. Противника надо было убивать, побеждать, гнать, своим же приходилось подчиняться.

На войне я убедился, что, когда страх смерти овладевал человеком, он действительно погибал. Пуля, снаряд, мина обязательно настигала его. Предчувствие носило мистический характер. Откуда оно появилось – никто не знал. Конечно, убивали и без предчувствий, но предчувствие словно отмечало человека роковым знаком. Вообще в войну я впервые понял, что понятие «рок» вовсе не архаично. Из темной безличной бездны вдруг появляется знак. Ни философ, ни физиолог, ни теолог не могут объяснить, что это такое. Многие события на войне совершались вопреки всем расчетам и соображениям. Случай слишком часто вмешивался в планы и выступал как судьба. Чаще всего – как поражение ума. Весь ход Второй мировой войны и Великой Отечественной, в частности, представляется мне как непреложное свершение судьбы. Все участники войны действовали так, как будто они могут сделать все. Гитлеровское командование совершенно правильно рассчитало ход блицкрига. Советское командование совершало ошибку за ошибкой. Союзники выжидали, оттягивали открытие второго фронта. Победа Гитлера по всем военным соображениям могла произойти. Однако с самого начала существовала уверенность в разгроме фашизма, и слепой рок неотступно преследовал гитлеровские войска, ничто не могло предотвратить катастрофы, самые действенные меры, временные победы оказывались бесполезными для изменения развязки. В сцеплении всех обстоятельств словно бы проглаживает судьба: «смертные не могут избежать назначенного», того, что Гете считал «таинственной загадочной силой, которую все ощущают и которой не в состоянии объяснить ни один философ».

Платон повторял поговорку: «Против Необходимости не восстают и боги».

Ощущение Необходимости, или Судьбы, или Рока, присутствовало в течение всей войны в сознании советских солдат, да и у союзников. Территория страха сокращалась, сводилась к личной судьбе, к своему участку фронта. «Победа будет за нами!» – звучало не как заклинание, а как общая уверенность.

VI

Известно, что Сталин ни разу за четыре года войны не выехал на фронт, не был на передовой. Все его призывы, доклады, пламенные обращения к воинам и гражданам, требования стойкости, смелости никак не связаны с личным мужеством. Он и в гражданскую войну на фронте не показывался. Тем более в Великую Отечественную, где пушки стреляли далеко, самолеты противника прорывались сквозь заградительный огонь.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Напрасно сталинисты ругали Хрущева за фразу, что Сталин руководил войною по глобусу. В этой метафоре была своя правда. Хрущев прекрасно знал, что Сталин фронта избегал. Что такое Вторая мировая война, он не понимал, не видел, не мог прочувствовать. Это было кабинетное руководство, к тому же человека без военного образования и знания войны. В этом и был «глобус». На самом деле Хрущев мог бы сказать – Сталин отсиживался всю войну, имея о ней представление отвлеченное, в масштабах глобуса.

Большинство его соратников следовали примеру вождя. Например, А. А. Жданов, член Военного совета Ленинградского фронта, глава ленинградских коммунистов, так и не посетил Ленфронта. Хотя передовые линии фронта отстояли от Смольного, где он укрывался, на расстоянии трех-пяти километров, на машине – нескольких минут езды.

Интересно, что для самого Сталина, для Жданова и других такое поведение оправдывалось преувеличенным сознанием ценности своей личности. Культ личности Сталина породил соответственные культы и других руководителей, их непогрешимости, их значительности как лучших его учеников и сподвижников.

В их представлении они становились незаменимы. Повсюду висели их портреты, их сопровождала охрана, они пользовались исключительными правами. Отсюда возникало их богоподобие. И, соответственно, боязнь за собственную жизнь, столь необходимую народу. Так что личный страх, свойственный каждому человеку, страх естественный, увеличивался в силу гипертрофированного представления о своей роли.

Следующие поколения вождей продолжали вести себя так же. Соратники Хрущева, а за ним Брежнева – Гришин, Устинов, Сулов, Громыко, Подгорный, Шелест, Рашидов, Кириленко и другие – не воевали. Все они провели войну где-то в тылу, уполномоченными, партсекретарями, никто из них и не попросился на фронт.

В биографии Ленина немало фактов показывает, что и он никогда не отличался личной смелостью. И в революцию, и в годы гражданской войны он чрезвычайно берегся, заботился о своей безопасности. Он первый осознал свою ценность как вождя революции и связал судьбу своей персоны с судьбою революции и Советской власти.

По мере своего возвышения руководители коммунистических правительств все более заботятся об охране, о своем здоровье. Это считается нормальным. Растет численность охраны, растет и их ценность в их собственных глазах. Вместе с этим возрастает их страх за свою личность. Чем выше, тем больше страха и за должность, ибо упасть, т. е. «выпасть из тележки», значит разбиться, расшибиться. Да и кроме того – затопчут. Страх возмездия весьма велик. Пробивались к власти, топча других, сталкивая их с лестницы, унижая, заискивая. Чтобы удержаться у власти, приходилось льстить, обманывать, клеветать, устранять соперников. Так что за каждым накопилось множество грехов.

С приходом Горбачева сменилось руководство, и можно было наблюдать, как снятые с работы секретари обкомов, горкомов партии, местные вожди партии, которая была «ум, честь и совесть эпохи», заспешили из своих центров, перебрались в Москву, подальше от сплоченных вокруг них коммунистов.

Боязнь народа принимала порой гротесковые формы. Один из вождей Ленинграда решил, что спокойнее всего для него будет принимать посетителей по телевизору. Приходит к нему гражданин, его сажают перед камерой, включается экран, он видит руководителя, тот видит его. Посетитель излагает свое дело, начальник отвечает и отключается, никаких споров, тягостного выпроваживания. Щелк – и конец связи. Безопасно, быстро, экономно.

Я не раз замечал, как люди стараются внушить окружающим страх. Демонстрируют свою силу. Ведут себя агрессивно. Одеваются вызывающе, шумят, ругаются. Им нравится наводить страх, они чувствуют в этом свое превосходство. Ничем другим возвыситься они не могут. Так действует хулиган и бандит. Есть и тип начальника, который хвалится тем, что внушает страх подчиненным, он уверен, что это повышает его авторитет и уровень дисциплины персонала; пусть все трепещут при его появлении, – он испытывает наслаждение. Будучи людьми невежественными, эти начальники полагаются только на страх. Добиться такого порядка, который бы воплотился в одном слове: «молчать!» – вот их заветная мечта.

VII

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтора от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истощнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места моему воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающее. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит – есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, ещё более низкий вибрирующий вой. На этот раз чёрный крест самолёта падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали:

– Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй!

Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных:

– Господи... помилуй!

В неведомой мне глубине что-то приоткрылось и оттуда горячечно хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил:

– Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого.

От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича, водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная, Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек...

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив. У меня была винтовка, но я не смел приподняться и выстрелить в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили часы, дни, недели, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

...Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Зашебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.

Бомбежка эта сделала свое дело, она разом превратила меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, как они мало эффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда, где он разорвется, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог – ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка...

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немецкие солдаты так же кричат, страдают, умирают. Наконец, мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие эпизоды, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы – ополченцы, в своих нелепых галифе, внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Ленинград. Немецким частям не удалось с ходу захватить город. Прежде всего потому, что подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, но они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх силы отнимает.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «окружили!», и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться, и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса бывает достаточно, чтобы вызывать общую панику.

Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало утрачивать.

VIII

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет, хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Незадолго до его смерти мы в Доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале, его не издавали, выступления его были запрещены, почему да как, об этом я расскажу позже. Вечер его мы устраивали тайком. Под видом его творческого отчета на секции прозы. Приглашали по ограниченному списку. В те дни в Ленинград приехал Виктор Некрасов, и я с трудом провел его на эту встречу. Зощенко радовался, все последнее время он находился в полной изоляции; кроме близких друзей, никто с ним не общался, он нигде не бывал, никуда его не приглашали – боялись.

Вечер наш получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «Сто самых удивительных историй моей жизни». Несколько из них он нам пересказал. Он не читал. Рукописи у него не было. Видимо, он их еще не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко.

Случилось это на войне, на ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа наизготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога круто сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. С такой же небольшой разведгруппой. Растерялись те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши – тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но, когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молодым солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, нашу – в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

История эта как нельзя лучше соответствует значению смеха в глазах Михаила Зощенко. Смех – как исцеление от страха. Смех – как избавление от ненависти.

IX

Перейдем к веселым кошмарам. Для начала к тем, которые собирают толпы зрителей, пользуются успехом у публики. Таковы, например, фильмы ужасов. Начало им положил всемирный успех фильма «Франкенштейн». Сделан он был по роману Мэри Шелли, тоже бестселлеру. А сама Мэри Шелли не случайно создала этот «ужастик» «Франкенштейн, или Современный Прометей». В начале XIX века в Женеве образовался кружок литераторов – поклонников жанра романов ужаса. В кружок входили Джон Байрон, Перси Шелли и другие видные европейские писатели. Рассказы, повести, новеллы, где действуют мертвецы, упыри, вурдалаки, пользовались все большей популярностью. Выходит роман Б. Стокера «Граф Дракула». О мертвече вампире. Книга эта до сих пор пользуется успехом. По ней поставлено множество фильмов о неугомонных мертвецах, которым не лежит в могилах, и они лезут в дела живых. С Дракулой ныне соперничает фантомас. Зритель с удовольствием обмирает во тьме кинозала. Чем больше страхолюдства, тем слаще.

Пристрастие детей к страшным сказкам, страшным комиксам хорошо известно. Они любят пугать друг друга, существует детский фольклор, так называемые «страшилки», их сочиняют и сами дети, и взрослые, в последние годы их появилось сотни.

Маленький мальчик нашел пулемет –
Больше в деревне никто не живет.

Маленький мальчик нашел пистолет –
Больше милиции в городе нет.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Все остальные счастливые находки маленького мальчика, а их немало, имеют подобный же результат. Иногда он сам попадает впросак:

Маленький Петя на льдине катался.
Тихо к нему ледокол подобрался.
Долго смеялись на палубе дети:
Справа пол-Пети и слева пол-Пети.

Девочки тоже участвуют в событиях:

Дочка у мамы спросила конфетку.
Мама сказала – сунь пальцы в розетку.
Быстро обуглились детские кости.
Долго смеялись мама и гости.

В поле нейтронная бомба лежала.
Девочка тихо на кнопку нажала.
Некому выругать девочку эту –
Спит вечным сном голубая планета.

Дети обожают подобные «страшилки», «ужастики», им хочется перевести страх неосознанный в наглядные образы, заземлить его смехом, сразить его иронией, она лишает его ореола тайны и непобедимости. Над ним, оказывается, можно посмеяться. Заодно над всем тем, чем пугают родители, можно повеселиться и над запретами, которыми так тщательно обставляют детскую жизнь.

Детские страхи кажутся сладостными.

Один из первых страхов был страх потеряться в лесу... Белая куртка отца мелькает между сосен, еще минута – и я останусь один в лесной чаще. Позже пришел трепет перед бесконечностью Вселенной, перед ночным небом, полным мерцанием мириад звезд, и еще больший – перед бесконечностью Времени. Ощущение миллионов лет до моего появления на Земле и тем более того, что и без меня время будет тоже длиться, вселяет тоскливый ужас. Был все еще детский страх перед огромностью человечества, Земли, разных стран и народов, страх безбрежности моря, затерянности в этом мире. Он все время увеличивался в размерах. Переход от детства к юности – это расширение Вселенной и одновременно осознание своей малости. «Я» съезживается, оно уже неразличимо среди неисчислимых множеств. Все тонет в чувстве безнадежности.

Страх приобрел свое искусство – кино, театр, литературу. Искусство как наслаждение страхом. Страх как специя искусства. Выработались приемы нагнетания страха. На экране, в кадре, появляются ноги, мы видим лишь брюки, туфли, звучат шаги или, наоборот, – бесшумно ступают, сопровождаемые «музыкой напряжения», выстрел, ноги удаляются. Зритель хочет, чтобы в фильме были сцены, от которых мурашки бегут по спине. Потребность такого сопереживания издавна сопровождает искусство. Пушкин в своем вольном переводе драмы Дж. Вильсона «Чумной город» (у Пушкина «Пир во время чумы») писал:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья,
Их обретать и ведать мог.

Кстати говоря, ученые в XVI–XVII веках считали веселье, разврат, пьянство средством против чумы. Боккаччо в «Декамероне» уверяет: «...Самым верным средством от этого ужасного недуга было, по их разумению, открытое злоупотребление вином и развлечениями...»

Д. Дефо в романе «Дневник чумы» пишет: «Ужас и страх довели большинство людей до совершения малодушных, безумных, развратных поступков, к которым их никто не принуждал».

Чума оказала влияние на европейское искусство. Она столкнула его с безумием, мракобесием. Картины Гойи, Гольбейна Младшего, Пуссена – связаны с ужасами чумы.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Великий нидерландский художник Питер Брейгель Старший создал серию гравюр «Семь смертных грехов», населенную чудищами. Они окружают людей, ужасая невиданными формами. Из крыльев, щупалец, когтей, рогов, клешней, игл он создает образы пороков. Художник срощивает туловище жабы с хвостом скорпиона, наделяет зверя крыльями, железным панцирем. Видения на его гравюрах подобны страшным снам, они ирреальны, грозно-фантастичны, детали же подчеркнуто достоверны. Образы Апокалипсиса, равно как и химеры готических соборов, воплощаясь в живописных творениях, отвечали тяге зрителей к пугающему, ужасному. Недаром серия Брейгеля имела успех. Еще большую известность приобрела его картина «Триумф смерти». Ни у кого до Брейгеля победная идея смерти не получила такой художественной наглядности.

Смерть у него торжествует повсюду, она – главное занятие человечества. Виселица, плаха, палач, вооруженные отряды скелетов загоняют людей в ловушки. Смерть равнодушна к сану, она разит красавицу, короля в горностаевой мантии; люди тонут, гибнут в поединках, горят, умирают от болезней, никто не в силах одолеть скелета на красном коне. Другой конь, белый, тянет повозку, груженную черепами. Кони Апокалипсиса – конь красный, конь белый. На полотне есть и те, кто пытается бороться с паническим страхом, с обреченностью.

Страх, воплощенный в живописные образы, уже отчасти преодолен художником. То же самое происходило в знаменитой серии «Капричос», созданной Гойей в 1799 году. Чудовищная испанская действительность отражена в его офортах со всеми страхами суеверий, фантазии. Адский шабаш творят призраки. Толпа в страхе склонилась перед пустой рясой монаха, напыленной на сухое дерево; из складок капюшона выглядывает жуткий призрак.

Брейгель, Босх, Гойя – Нидерланды, Испания, век XVI, XVII, XVIII – не переставали рождать великих художников Страха и ужасов жизни. Почему-то мало кто впоследствии отваживался на столь откровенный вызов Страху. Зато литература давала и дает немало замечательных имен поэтов и романистов-классиков этого жанра.

В искусстве, как и в жизни, страх – необходимая составляющая, без него гамма неполная. Музыка невозможна, если выпадает одна из нот. Достоинство жизни страх не понижает, если он сосуществует с долгом и любовью. В какой-то мере он придает жизни «неизъяснимы наслажденья». Чувство страха принимается как приправа, от которой возникает ощущение полноты бытия.

В древности происходило нечто похожее. Люди, например, вызывали души умерших. В «Одиссее» Улисс вызывает духов подземного мира, слушает их прорицания. Некромантия – так называлось общение с духами мертвых – преследовалась и все равно продолжалась. Человек хочет знать, что там, «за ветхой занавеской тьмы» (Омар Хайям).

Своеобразным представлением служила публичная смертная казнь.

Казни в старину не просто лишали преступника жизни, они служили устрашению живых. Достигалось это продуманно-изошренной процедурой.

В 1707 году Карл XII приказывает военному совету судить советника Петра Великого ливонского дворянина Паткуля за измену. Его приговаривают к смерти. Казнят его колесованием. Пятнадцать раз по нему проехали колесом. После чего его четвертовали, то есть отсекали поочередно руки и ноги и лишь потом голову. Толпа на площади в польском городе Козенице жадно наблюдала это зрелище.

Петр Первый казнит одного за другим государственных чиновников за казнокрадство. Их сажают на кол, четвертуют, голову втыкают на шест, и там она торчит месяцами. И на колу посреди площади умерший в муках остается надолго гнить на глазах у горожан. Петр умеет расправиться и с теми, кто ускользнул от законной кары. Когда выяснилось, что Милославский был одним из организаторов первого стрелецкого бунта, Петр приказал выкопать его из могилы. Труп, вернее останки, погрузили в повозку, запряженную свиньями, и повезли через всю Москву к лобному месту. Поставили гроб под эшафот. Палач рубил головы стрельцов, и кровь стекала на труп Милославского.

Подобные мистерии производили сильное впечатление на народ.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Петр умел их устраивать, но не следует думать, что он в этом был оригинален. Задолго до него в Европе римские папы проделывали нечто подобное с покойными своими врагами. Так, папа Иоанн XIII в 965 году приказал вырыть из могилы тело герцога Рофреда, вывалить его в грязи и выбросить на городскую свалку.

Х

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Этого запомнить невозможно, хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Шутка ли: перед иностранцами, перед идеологическим противником позволил себе не согласиться с решением ЦК партии! Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть сотни тысяч отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. История только готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как только что опубликовали эренбургскую «Оттепель», но сразу же на нее накинута стража вечной мерзлоты.

Большой зал Союза писателей был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию – журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так и простоял до конца у стенки.

Докладчик – В. Друзин – бубнил о том, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли лишь, когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины – сперва за «Оттепель». И Эренбурга, это полагалось ритуально, затем шли местные нарушители – предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; он поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же – главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут. Но уж больно яростно ругали, злобились не по размеру: «беспринципный, бессовестный хулиган» – это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... выражение, которое в самую последнюю минуту заменили на «блудница». Принял бы и это, если бы не Жданов. Еще со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым вызывало недоверие. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне – и то его у нас в армии не видали.

Винили и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они раздували авторитет Зощенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь я переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, ему-то это ни к чему, и так хватало с лихвой, сколько мучили, мордовали, так нет,

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
зачем-то опять вляпался в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся, 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел первым секретарем ЦК Н. С. Хрущев. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять начинается, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал – какого черта он вылез, не надо было провоцировать. Это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили «втык» от начальства: что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте.

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае, на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Это ахнуло как взрыв, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило то, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

– И никому другому не аплодировали! – уличающе провозгласил он.

«Не согласен» – это, конечно, и на нас произвело впечатление ошарашивающее – как так сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина, если чем и запомнился мне, то исключительно тем, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил тот доклад, да и самого Друзина уже не помнят на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами – никто не мог назвать. Я ничего не понимал – почему же в таком случае он командовал журналом «Звезда», почему поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью.

Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В. А. Кочетов. Он посоветовался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.

Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, в котором больше было вражды, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, настрой был задан.

Зоценко оглядел лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

– Очень трудно говорить в моем положении. – Голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно – что бы он ни сказал, все будет не так: «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» – обязательно как-то его сформулируют.

– ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

– ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность – это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думаешь, – этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

– Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

...Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

– В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе – именно о том, что я не советский писатель. – И опять повторил четко: – Не могу согласиться!

– Зачем подчеркивать несогласие? – прошептал кто-то рядом. – Не стóит.

– Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние, и я, главным образом, занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления, – о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

– Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что потом имело продолжение.

– ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература...

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на Первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

– Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных, и безыдейных – это так. Отчасти это была дань давнему времени – двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в 23-м, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, – это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми, – я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно всем перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и отдельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

– Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20–30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мещанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие! Прямо-таки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

– ...Закончил мой ответ так: сатира – сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, разделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него одного наставлены все прицелы, все стволы.

– Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо стал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зощенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зощенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех,

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
снова подвергнуться осуждению, снова пройти адавы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас – может, этот вопрос был провокационный, продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

– ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

– Нет, это не ответ! – тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что он хочет увильнуть, и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вывернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Он надеялся, что ему удастся перешагнуть через все условности этой гражданской казни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

– ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

Перечитывая стенограмму, я вспомнил свое чувство досады за него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, он только усугублял, может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, наседающих на него.

– ...Существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, то, что нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, – достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжкий груз времен.

– ...Да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

– Только в этом? – ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза – что Панова, что Друц и Неручев.

– ...Я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов.

Здесь Зоценко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи истории, образы стали нарицательными, чьи изречения вошли в обиход. В самые тяжкие времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зоценко, хохотали до упаду.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зоценко, как не кто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это он годами был источником смеха и все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друц, все они обязаны ему многими часами радости?

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

– Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение – и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдал за него.

– Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он по пунктам зачитал опровержения на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично ответить. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили клеветы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

– Я никогда не втирался в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал лезть в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегия «Звезды».

Про рассказ «Приключения обезьяны», из-за которого якобы разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, во всяком случае, для нас, молодых, это было совершенное открытие.

– ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале «Мурзилка», для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано и никакого подтекста – я клянусь! – не вложил в него.

По поводу того, что он окопался в войну в Алма-Ате, что он трус, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

– Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зоценко командовал взводом в Первую мировую войну, был награжден двумя Георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

– Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе-сентябре 1941 года. Весь город был оклеен тогда афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда. Много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам с документами и

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября 1941 года, провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зоценко Жданов использовал тот же прием – бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать, очевидно, уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила всю.

– ...Сказано было, что я не патриот своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зоценко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против кочетовых и друзиных, которые были не сами по себе, а представляли власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покаялся. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более ныне, низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

– Этого требуете вы? Вы! – Крик его повис и сорвался.

Взгляд толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжелая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгушалось чувством позора. И общего позора, и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зоценко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

– Я могу сказать – моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

– У меня нет ничего в дальнейшем, – ровно и холодно произнес он. – Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, – он посмотрел на президиум, – ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнутым, но сквозь захлопнутые ставни пробивался непонятный свет.

Спускался, как бы уходил от нас в небытие. Не раздавленный, отнюдь, он сказал то, что хотел. Отныне это будет существовать.

Оказалось, все эти годы проработок, анафем, отлучения ничего с ним сделать не смогли, и, как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению.

...Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то – невесомый, легкий, все привязи, скрепы рухнули, и нечем было

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
остановить его. Те, кто только что угрожал ему изгнанием, смотрели ему вслед с
неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты
были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них
была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Поднялся Кочетов, всмотрелся в зал – кто это позволяет себе, – предупреждающе
покачал головой. Потом он перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление
от речи Зоценко. Друзин сидел, изображая как бы горделивую усмешку. Как будто
его позабавил выпад Зоценко, даже польстил ему, как будто получалось, что он,
В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле для
Зоценко он был символом посредственного, если не сказать бездарного,
руководителя.

Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных, неведомыми путями пробиралось на
редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию,
учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой «крамолы», именно
всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот
Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно. Год спустя после
того собрания случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне
билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзиным. Саянов, человек
компанейский, прихватил с собою выпивку, раздобыли кой-какую закуску, и после
нескольких чоков Саянов стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у
Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он
завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его
гнузавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого: они читали
Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус,
Надсона, Белого – поэтов отвергнутых, запретных в ту пору, вовсе мне неведомых.
Читали упоенно, без усталости, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в
Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. И. Друзин выступал и уныло
крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу «не надо мне вашего Друзина» запомнили крепко. Спустя десятилетия я
пытался опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как
водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны.
Восстановить по ним текст выступления М. М. Зоценко было невозможно. Но что
любопытно – все повторяли мне: «Не надо мне вашего Друзина!» Запомнили дословно
эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться.

– Мы не будем преувеличивать значения того выступления, которое вы выслушали от
товарища Зоценко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории
происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто
аплодировал ему, что за люди.

И «паперть» и «кликушество» было грубо, но все равно не действовало, люди
медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, завздохали, задвигались,
зашептались.

– Это была изворотливая речь... – настаивал Кочетов. – Почти весь Союз писателей
возмущался после того, как произошло высказывание Зоценко перед студентами,
большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только
что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена
года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был
щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и
началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем,
что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него
ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой, пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искреннее убеждение. Почему вы все придаете такое значение выступлению Зоценко и самому Зоценко? Кто такой Зоценко, чего мы носимся с ним?.. – таков был смысл его слов. Но они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зоценко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

– Зоценко – это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что, у нас мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись только, когда объявили Константина Симонова. Столичному представителю полагалось выступить в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступления Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили дружины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат-фронтовик. Я смотрел на него с надеждой. С Кочетовым все было ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодцеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зоценко, досталась ему, но объединяла их талантливость; я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно – что же вы тут, бедолаги-ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь – приходится порядок наводить.

– ...Советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше-то, дальше он выйдет на справедливость, которая наконец прояснилась.

– Незачем, конечно, делать из этого историю, – как бы поддержал он Кочетова и тут же поднял палец.

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звезды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зоценко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

– Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зоценко и напечатали. Что же изображать из себя жертву Советской власти? Как вам не стыдно.

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне:

– То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зоценко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор „Нового мира“, я буду печатать Зоценко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрятанное вглубь воспоминание о тем собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал. Домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали... В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды при мне к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились – в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать. «Врать не хочу, – запинаясь, сказал он, – а говорить, что думаю, не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклонение, за связь с «ленинградским делом»... Однако то собрание с Зоценко потрясло и бывалых, все выдавших ленинградских писателей.

На сцене стоял большой портрет М. М. Зощенко, под портретом корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Это был тот же зал ленинградского Дома писателя. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амуры, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Зал был битком набит, стояли вдоль стен, толпились в дверях.

Никого из тех, кто проводил то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что когда приходит время, спросить не с кого?..

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зоценко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Вырвана из всех папок. Когда, кем – неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни справлялся у писателей – как водится, никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое, и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожала плечами, вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Месяца через два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, ничего не объясняя, она протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться, ибо понимал деликатность ее ситуации. Я пытался представить

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
неизвестную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком, работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зоценко, на зал, вникнуть в происходящее. И, однако, лучше многих из нас поняла, что Зоценко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все эти годы. Не боялась сохранять. Все эти годы берегла, и дождалась.

XI

Писатель-философ Сенека, живя под властью Нерона, хорошо познал унижительный гнет страха. Не раз в своих письмах Луцилию он учит, как преодолевать страх. За его рассуждениями скрыт его личный опыт. Его близость к Нерону, он ведь был его воспитателем, привела Сенеку к гибели.

Человек, считал Сенека, должен найти себе состояние полной независимости от внешних обстоятельств. Его этика требует воли к добру. Совесть – бичует злые дела, но это не страх наказания.

Его волнует проблема смерти. То, что Сенека написал о смерти, не устарело за прошедшие две тысячи лет. Сама проблема ухода из жизни не изменилась, она все так же мучит человека. Может быть, до сих пор никто не сумел превзойти бодрящую прелесть наставлений, написанных Луцилию Сенекой.

Он признается, что слова крупнейшего римского историка А. Басса о смерти: «Смерти нечего бояться, потому что ее нельзя почувствовать, ибо благодаря ей перестают чувствовать», – эти слова мало что дали Сенеке. Дало же то, что Басс говорил о собственной смерти:

«Жизнь дана нам под условием смерти, – пишет Сенека, – и сама есть лишь путь к ней. Поэтому глупо ее бояться: ведь известно, мы заранее ждем и страшимся лишь неведомого. Неизбежность же смерти равна для всех и непобедима».

Роль воображения, превосходящие страхи привлекали внимание Сенеки и раньше.

В «Письмах к Луцилию» он признается: «...Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает, и воображение мое, Луцилий, доставляет нам больше страданий, чем действительность... Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени; когда то, чего ты с тревогой ждешь сейчас же, может и вовсе не наступить, и уж наверняка не наступило. Многое мучит нас больше, чем нужно, многое – прежде, чем нужно, многое вопреки тому, что мучиться им вовсе не нужно... Ты спросишь: откуда мне знать, напрасны мои тревоги или не напрасны? – Вот тебе верное мерило!.. Страдаем мы по большей части от подозрений».

«Молва пугает нас», – предупреждает Сенека.

«Мы бросаемся в бегство, словно те, кого выгнала из лагеря пыль, поднятая пробегающим стадом овец».

Вымышленное тревожит сильнее. То, что происходит, имеет, по словам Сенеки, «свою меру», и мера эта, как правило, меньше, чем то, чего боялась пугливая душа.

«Даже если нам предстоит страданье, что пользы бежать ему навстречу? Когда оно придет, ты сразу начнешь страдать, а куда рассчитывай на лучшее. Что ты на этом выгадаешь? Время!» (Письмо XXX).

В самом деле, время ожидания – это кусок жизни, и, возможно, немалый кусок, и кто знает, может, самый лакомый. Пока мы мучаемся страхом, жизнь-то проходит... «Умерь страх надеждой», – советует Сенека. Его бытовая мораль оказывается наиболее практичной и человеческой: «...Взвесь надежды и страхи, и всякий раз, когда ясного ответа не будет, решай в свою пользу – верь в то, что считаешь для себя лучшим».

Чаще всего, однако, мы сдаемся слухам, угрозам и трепещем перед неизвестным, доводя себя до паники. Сенека требует не успокаивать себя утешением: «Может, этого и не случится!»

Слишком слабо такое лекарство. Он предлагает нечто посильнее: «Что с того, если случится? Посмотрим, кто победит!»

Он требует борьбы, не склонять голову перед роком.

Его наставления впору современному бытию.

Чего мы боимся? Бедности, болезни и насилия. Чаще всего внушает страх насилие в разных формах. Оно умеет показать себя: перед нами все время появляются примеры жизненных катастроф – лишение должности, звания, доносы, предательства, всеобщее осуждение, аресты, ссылки, казни. Вид низверженных побеждает смелых.

От бедности может спасти работа, бедность приходит исподволь. От болезни может спасти врач. Борьбаться с насилием труднее всего. Оно воплощено в государстве, когда им занимается власть, оно кажется несокрушимым.

Тайна смерти и чувства, связанные с нею, занимали мысли Льва Толстого на протяжении многих лет.

В повести «Смерть Ивана Ильича» Толстой как никто вжился в тайну смерти. Ужас, оказывается, не в уходе из жизни, а в том, что Иван Ильич вернулся к самому себе и открыл, что его жизнь была «не то». Трагедия его смерти в непоправимости его жизни.

Искусство писателя, как и ученого, состоит в том, чтобы увидеть привычное по-новому, не так, как видели все остальные. Стефан Цвейг увидел у Толстого особый нерв: страх перед смертью, животный, первобытный страх всего живого на земле пронзает Толстого. Опыренный жизнью исполин, и физический, и духовный, он сопротивляется, он кидается на борьбу, он уверяет себя и других, что может без страха думать о ней. Он мобилизует в помощь себе накопленную мудрость человечества, он повторяет того же Сенеку, царя Соломона, Шопенгауэра. «Пока смерти нет, ее нечего бояться, когда она наступила, ее уже нечего бояться». «Глупо умирать из страха перед смертью». «Смерть – это Закон, а не кара». «Кто научился умирать, тот научился быть рабом». С помощью религии он пытается прикрыть черную бездну, от которой вянут и чахнут все надежды, все страсти. Бесполезно. Исчезновение. Ничто – неумолимо. Противник непобедим. Толстой отступает. Но для того, чтобы научиться жить со смертью. Он не может ее одолеть, но он может одолеть страх смерти.

Я позволю себе привести несколько отрывков из книги Цвейга о Толстом, написанной со страстью человека, которого мучает тот же неотвязный вопрос.

«Как испанские трапписты еженощно ложились спать в гроб, чтобы умертвить великий страх, Толстой внушает себе упорными ежедневными волевыми упражнениями самогипнотизирующее постоянное *memeto mori*, он принуждает себя постоянно и со всей душевной силой думать о смерти, не содрогаясь перед мыслью о ней. Каждую запись в дневнике с этого времени начинает мистическими буквами „е. б. ж.“ (если буду жив), каждый месяц на протяжении многих лет он заносит в дневник, напоминая себе: „Я приближаюсь к смерти“. Он привыкает смотреть ей в глаза. Привычка устраняет отчужденность, побеждает болезнь – и за тридцать лет пререканий со смертью из внешнего фактора она становится внутренним, из врага – чем-то вроде друга. Он приближает ее к себе, впитывает в себя, делает смерть частью духовного бытия и вместе с тем былой страх – „равным нулю“; спокойно, даже охотно, убеленный сединами и мудрый – смотрит в глаза тому, что прежде было фантомом ужаса; „не нужно думать о ней, но нужно ее всегда видеть перед собой. Вся жизнь станет праздничной и воистину плодотворной и радостной“».

И далее, увлеченный своим открытием Цвейг видит в Толстом самого проникновенного изобразителя смерти, лучшего из всех мастеров, ваявших когда-либо смерть.

«Страх, вечно предупреждающий действительность, поспешно изучающий все возможности, окрыленный воображением, питаемый всеми нервами, всегда производительнее, чем тупое глухое здоровье, – каков же этот ужасный, панический, десятки лет бодрствующий страх святой, horror и stupor, этого могущественного человека!.. Смерть Ивана Ильича с его отвратительным воем „я не хочу, я не хочу“, жалкое умирание брата Левина, разнородные уходы из жизни в романах, все эти настороженные прислушивания над краем сознания принадлежат к крупнейшим психологическим достижениям Толстого; они были бы невозможны без этого катастрофического потрясения, без испытанного им ужаса глубочайших вскапываний, без этого нового настороженно-недоверчивого сверхземного страха...»

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Только потому, что Толстой ярче, чем кто-либо, пережил смерть при жизни, он сумел показать ее нам с небывалой реальностью».

Замечательно описав единоборство Толстого со смертью, со страхом перед нею, сам Стефан Цвейг не обрел жизнестойкости, в 1942 году он покончил с собою. Отчаяние перед торжеством фашистской агрессии толкнуло его к уходу из жизни.

Человек кончает с собою не из-за страха перед смертью, а скорее из-за отвращения к жизни. Но это не есть преодоление, это все же поражение и малодушие. Страх перед смертью и страх перед жизнью имеют общие корни.

Цвейг был нерелигиозный человек, Толстой был человек глубоко верующий. И он находил защиту перед бессмысленностью жизни в христианстве.

У Толстого есть сочинение, названное им «Исповедь». Он рассказывает там о своих поисках цели и смысла жизни, о своих метаниях, сомнениях, как он приходил в отчаяние и как обрел, наконец, истину. Беспощадно искренний, Толстой, как не кто другой, будоражит каждую взыскующую душу, каждого, кто, как и он, пытается понять, зачем он живет. Выводы его наивны, но эта наивность добра и любви. Ее нельзя обойти, если мы хотим всерьез разобраться в проблеме избавления от страхов нашего общества.

Заклячая книгу «Исповедь», Толстой, в частности, пишет:

«Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее. Свидетельствовать же он может не иначе как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Если все члены семьи – христиане, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклухо-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких, и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро».

Христианин не имеет права становиться ни на сторону нападающих, ни на сторону защищающих, ему ничего не страшно, кроме отступления от воли Божией.

Учение Толстого выглядит утопичным, но, может, утопия – это то, чего так не хватает современному рационалистическому миру.

XII

После войны бывшие солдаты, офицеры пришли на производство, в учреждения рядовыми. Начальственные должности были заняты. Обычная картина – победители не получают ничего. Определилось несправедливое отношение к бывшим военнопленным: чуть ли не изменники, предатели; все годы их держали под подозрением как людей неблагонадежных. То же было с миллионами тех, кто жил в зонах оккупации. Тяжелых инвалидов войны отправляли в колонии. За годы войны установился командный стиль руководства – хамский, категоричный. Стала невозможной критика, нельзя было высказать собственное мнение, личность была унижена. В этих условиях бывшие фронтовики могли бы, казалось, подать свой голос. Они-то страдали больше других. Хотя бы потому, что на фронте все же личная доблесть человека ценилась выше приспособленчества.

фронтовики молчали.

Мои однополчане, храбрые вояки, кому на войне черт был не брат, не подавали голоса. Избегали выступать со своим мнением, оспорить какого-нибудь инструктора райкома, отмалчивались, покорно поднимали руку, голосуя вместе со всеми, «единодушно» одобряя очередную глупость, а то и несправедливость. И я вел себя так же. Ничем не лучше других. Внутренне возмущался, в крайнем случае в кругу друзей высказывался, и то осторожно, а так, чтобы открыто, – не смел. На фронте не трусил, здесь же, в мирных условиях, когда речь о жизни – смерти не шла, – боялся. Почему? – спрашивал я себя. Спрашивал и других. Что нам грозит? Ничего особенного, не расстреляют... Нет, логика не помогала. Что-то иррациональное было в нашем поведении. На фронте был долг, была ненависть, было ясное, всеобщее

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
понимание мужества. Здесь же... А вот не смели переступить. Чего переступить – не знаю. Удивительно, как лихо еще недавно поднимались и шли в атаку те, кто так робко поднимался на трибуну и лепетал там что-то против своей совести.

Попробую привести один пример, достаточно разительный.

В 1957 году я уже был писателем и был приглашен на встречу с руководителями партии и правительства. При большом стечении народа Хрущев отчитывал писателей за идеологически вредные произведения. Ожесточенно критиковали, проще говоря, поносили сборник «Литературная Москва» и журнал «Новый мир». Там был напечатан роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» и мой рассказ «Собственное мнение». Хрущев, который, я уверен, ничего этого не читал, обрушился на редакторов, в частности на главного тогда редактора журнала «Новый мир» Константина Симонова. Стихи Симонова мы на фронте знали наизусть. Не было в годы войны более популярного и любимого поэта, чем он. Как военный корреспондент он побывал на самых тяжелых участках фронтов, в самой гуще сражений. Красавец, подтянутый, наделенный талантом и прозаика, и поэта, и драматурга, и журналиста, он, естественно, стал кумиром нашего солдатского братства, да и послевоенной молодежи. Особенно же популярность его украсилась, когда «Новый мир» стал публиковать вещи критические.

На этом приеме, после разноса, устроенного Хрущевым, заставили выступить Симонова. «Призвали к ответу». Я с волнением ждал его выхода. Надо заметить, что мой рассказ он напечатал немедленно, расхвалил, поблагодарил.

Симонов вышел к столу, за которым сидели члены Политбюро Молотов, Косыгин, Каганович, Маленков, Сулов и прочие соратники Хрущева. Сам Никита Хрущев возглавлял стол и вел, уже подвыпивши, это судилище.

Начал Константин Симонов с того, что признал свою ошибку, осудил публикацию романа Дудинцева и моего рассказа, то есть как бы отрекся от нас, затем он проникновенно обратился к Хрущеву:

– Вы знаете, Никита Сергеевич, как я вел себя в годы войны, я не раз бывал на самом переднем крае, ничего не боялся, и, если надо будет, я сумею подтвердить свою преданность партии и правительству. – И он с чувством приложил руку к сердцу. Думаю, что все это было искренне, но мне стало стыдно. Надо отдать должное Хрущеву, он сказал:

– Неужели, товарищ Симонов, нам надо снова начинать войну, чтобы вы доказали свою верность?

Раздался смех, Симонов принужденно смеялся вместе со всеми.

Впоследствии Симонова терзало его трусливое поведение, его предательство. Сужу об этом по тому, какие он сделал шаги к примирению со мною. Я рассказываю об этом не в осуждение Симонова. Мы быстро помирились и никогда не возвращались к той злосчастной сцене. Мне было стыдно за него, но ведь и я не проявил себя героически. Хотя, странное дело, этот стыд помог мне держаться, когда, правда, немного позже, меня тоже вытащило начальство на трибуну в Ленинграде и заставили каяться за повесть «Наш комбат». Я отказался каяться. Мне помогла горькая память о поведении К. Симонова, о том, как каялся поэт-фронтвик Александр Я. Они оба были несомненно мужественные люди. Военные дневники Симонова, напечатанные в конце шестидесятых годов, показывают его благородную, достойную боевую жизнь русского офицера. А вот перед лицом Генерального секретаря, перед лицом всей озверелой компании идеологических жандармов не выдержал, дрогнул, отступил. Перед фашистами не отступил бы, а перед своими, отечественными монстрами сдал. Гражданское мужество, наверное, выше военного.

Прежде чем винить К. Симонова, надо понять, что там, наверху, на тех должностях, в которых он находился, ставки резко повышаются. Люди рискуют там куда большим, чем те рядовые, с которых спрос другой. И страху на вершине больше. У канатоходца отношения с опасностью не те, что у пешехода.

Мы не знаем случая, когда публично в те времена кто-либо восстал бы на Генсека. Не было такого. Никто не осмеливался. Если и было, то это скрыли. В том-то и подлость советского времени, что героем сопротивления в условиях казарменного социализма стать было нельзя. Если бы допустили до микрофона, до газетной

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
статьи, до печати – смельчаки нашлись бы. Перефразируя Б. Брехта – «Несчастливая страна, в которой невозможно стать героем». Знали бы люди, что голос их будет услышан, никакие страхи не остановили бы их, так и было, когда чуть появилась возможность для самиздата. Диссиденты семидесятых-восемидесятых годов заслуживают глубокого уважения, они первые преодолели прочный укорененный страх, отстоявшийся со сталинских времен.

Что это был за страх, трудно себе ныне представить. Нечто мистическое, страх, который больше страха смерти, страх, от которого цепенела мысль. Олицетворением такого страха был И. В. Сталин. Он внушал почитание, преклонение и ужас одновременно, как в демонологии Самаэль, злой дух, глава всех Сатанов.

Павел Нилин, замечательный русский писатель, рассказал мне характерную историю о своей встрече со Сталиным.

На секретариате ЦК обсуждался кинофильм «Большая жизнь», к которому предъявили политические претензии. Вызвали постановщиков и П. Нилина как автора сценария. Происходило это в 1939 году. Идет заседание. Нилин сидит за одним из столиков и по своей писательской привычке записывает происходящее, благо на столиках разложены карандаши и бумага. Сталин, посасывая трубку, прохаживается в мягких своих кавказских сапожках между столиками так называемого шахматного зала. Вдруг Нилин чувствует, что Сталин остановился за его спиной и всматривается, чего это он пишет. И тут Нилин вспоминает: их предупреждали, что ничего записывать не следует, но остановиться он не может. Не в состоянии. Сталин смотрит из-за его плеча, а Нилин строчит все быстрее.

– Это было какое-то мерзостно-паническое состояние, – признавался он. – Никак не мог справиться с собою, рука уже выводит что-то неразборчивое, я не в силах ее остановить.

Павел Нилин участвовал еще мальчиком в гражданской войне, был и на Отечественной. Это был храбрый, ироничный, всегда спокойный человек, а вот поди ж ты...

Ходила подобная история и про Г. М. Козинцева, известного кинорежиссера. В Москве показывали его новый фильм. Сталину и прочим соратникам. Кончился фильм. Сталин молчит, раскурил трубку, все ждут, что он скажет. Долгое молчание, потом Сталин спрашивает:

– Кто режиссер?

И тут Г. М. Козинцев падает в обморок.

Говорили, что Сталин собирался похвалить картину. Подобный страх Сталину нравился, Козинцев был обласкан. Я прекрасно понимаю состояние Г. М. Козинцева, факт этот унизителен – не для него, унизителен для Сталина, для кошмарной обстановки тех лет.

Страх, который внушал Сталин, образовался не сразу, понадобился жесточайший террор, начиная с двадцатых годов, надо было высылать людей в Соловки, на Колыму, в Магадан, надо было раскулачить лучших крестьян, сослать их в Сибирь. Нужны были расстрелы дворян, оппозиции, спецов, а затем и беспричинные расстрелы во всех республиках, городах, надо было уничтожить миллионы и миллионы советских людей – это на их трупах вырос Страх, а на его вершину взобрался вождь всех народов.

XIII

При тоталитарном режиме в атмосфере страха прожило несколько поколений. Родители соответственно воспитывали детей. Одно можно было говорить дома, другое следовало отвечать в школе. Не хотели учить своих детей врать, но и нельзя было позволить им повторять то, о чем толковали дома. Детей приучали к двойной жизни. Сами родители вели еще более сложную жизнь: одно лицо на работе, другое дома, третье наедине с женой, наедине с кем-то из друзей, ибо и дома нельзя было позволить себе полную откровенность. Человек почти нигде не осмеливался быть самим собой. Чувства протеста, гнева вспыхивали и сгорали в душе, неведомые никому. Сокровенное никогда не проявляло себя. Страх – даже не так за себя, как

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
за семью, – вынуждал смиряться. Никак не отзываться на ложь и подлость режима, склонять голову, закрывать глаза. Голосовали за смертную казнь. Кричали ура, аплодировали пустым, неумным речам.

На глазах у людей торжествовала неправда, и никто не смел разоблачить ее.

Моя дочь школьницей писала сочинение на тему «Ваш любимый герой в романе „Война и мир“». Она написала о Платоне Каратаеве. Меня вызвали в школу. Учительница стала мне выговаривать – как можно было выбрать такого героя, религиозного человека, через которого Толстой проповедует свою теорию непротивления злу. Что за обстановка у вас в семье? Как вы воспитываете дочь?

Я сослался ей на тему, которая, мол, давала свободный выбор, на это она сказала, что именно выбор выявил неблагополучие идеологическое, за которое отвечают родители. Напомнила статью Ленина о Толстом, термин «каратаевщина» и добавила, что мое упорство усугубляет положение.

Единственный выход, по ее мнению, состоял в том, чтобы переписать сочинение, выбрав, допустим, Андрея Болконского или Наташу Ростову.

Дети не всегда понимали родителей, родители далеко не всегда могли объяснить свое двуличное поведение, свои секреты, дети уличали их во лжи.

Но и дети, подрастая, вели себя соответственно железному прессу времени.

Великий русский артист Евгений Лебедев рассказывал мне, как он скрывал от всех, что его отец был священник. Как тайком ездил к нему в Поволжье повидаться. Прошли десятилетия, отца давно нет в живых, а душу Лебедева, не оставляя, жжет стыд и вина перед отцом.

Мой отец в начале тридцатых годов был выслан в Сибирь, лишен избирательных прав, такие назывались «лишенцами». На втором курсе Электротехнического института мне надо было заполнить анкету. Я написал «отец лишенец». Меня вызывали в деканат и сказали, что придется меня отчислить из института. С трудом добились перевода в другой институт, где не требовалось спецформления. С этого времени я вошел в разряд как бы неполноценных граждан. В юности это чувство нестерпимое. Обречен на вторые роли, не допущен к секретной работе, не могу продвигаться, всюду будет за мною эта гиря – «отец-лишенец». Отца я нежно любил, и это помогало мне преодолеть отчуждение, но сколько семей, сколько судеб было изувечено этим. Страх заставлял детей отречься от отцов, осуждать их, скрывать свои чувства.

Семью великого русского поэта Александра Твардовского раскулачили. Сам он до этого уехал учиться в Смоленск.

Брат его Иван Трифонович Твардовский в своей повести «Страницы пережитого» вспоминает: «Будучи еще на Нерче, мы писали брату в Смоленск. Мама и отец, видимо, еще думали – не сможет ли он как-то, чем-то помочь. Конечно же, сам он жил тогда на малых средствах, постоянного заработка не имел и материальной помощи от него не ждали, пусть бы просто сохранилась какая-то родственная связь с родной матерью, отцом, с младшими кровно близкими.

Пришло от Александра два письма. Первое было обнадеживающим, чего-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк, из которых восемь не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова это были вот какие: „Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу Вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей...“

Письмо этим не кончилось, там было и такое: „...Писать я вам не могу... Мне не пишите“.

На том все и закончилось, больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года».

Внимательный читатель даже по обрывкам текста писем поймет трагедию Александра Твардовского – трагедию страха – «я не варвар и не зверь» – он понимает низость своего поведения, он боится, он не может, не смеет прямо написать им ни о своем страхе, ни о сочувствии, он понимает несправедливость того раскулачивания, которое творят с родными. Что ему делать? Он вырвался в Смоленск, устроился там,

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru надеется учиться, выбиться в люди, если... если он будет осторожен, если он пособлюдает хоть какое-то время подлые законы того времени. Он уцепился за какой-то обломок и пытается выплыть, спастись. Не топите его! Не пишите ему! Он знает, что письма просматриваются.

Помню, какой шок вызвала публикация этих воспоминаний И. Т. Твардовского в 1988 году. Александр Твардовский давно уже стал для читающей России символом бесстрашной борьбы за правду. За те годы, что он был главным редактором «Нового мира», этот журнал подобно герценовскому «Колоколу» будил сотни тысяч читателей, собрал вокруг себя все лучшее, талантливое в передовой мысли страны, он вызывал бешеные наскоки сталинистов. Они ненавидели Твардовского. Интеллигенция обожала его, он был кумиром. Воспоминаниям брата не хотелось верить.

Иван Твардовский опубликовал их спустя семнадцать лет после смерти брата, когда образ Твардовского устоялся, забронзовел, и такая публикация заслуживала размышления.

Были ли на то личные причины у Ивана Твардовского – не знаю, важно, что это правда, и ценная правда о том времени. Кроме страха было у Александра Твардовского и убеждение, что он обязан перешагнуть через родственные связи во имя борьбы с кулачеством. Он сам писал об этом:

Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.

В поэме «Суд памяти» он дает точное объяснение, зачем с такой ожесточенностью ставили молодым клеймо «Сын кулака».

Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело,
Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее, закон таков,
Быть под рукой всегда – на случай
Нехватки классовых врагов.

Полностью оправдать и защитить Твардовского не удастся. Он сам казнил себя строже других. Были заблуждения, был и самообман, но труднее всего простить было свой страх. Все было испакощено страхом.

Отец А. Твардовского тайком из ссылки приехал с младшим сыном Павлушей в Смоленск повидать Александра. В Дом Советов, где была редакция, к Александру зайти не решился. Ждал. Дождался какого-то служаки, попросил передать, что ждут Александра. Себя не назвал. Боялся. На душе беспокойно, но ведь родной сын, стоит, думает – может, Павлушку приютит, все же братик. Вышел Александр. Отец смотрит на него с тревогой, в каком-то смятении. Как это может быть в жизни, чтобы встреча с родным сыном так пугала. «Я глядел на него: рослый, стройный, красавец! Да ведь мой же сын! Стоит и смотрит на нас, молча. А потом не „Здравствуй, отец“, а – „Как вы здесь оказались?“»

– Шура, сын мой, – говорю. – Гибель же нам там. Голод, болезни, произвол полный!

– Значит, бежали? – спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его, просто ему несвойственный, всего меня к земле пригвоздил. Молчу. – Что там можно было сказать...

– Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставить вас туда, где были...»

Тяжелая сцена, не хочется продолжать ее. Трудно, почти невозможно растолковать ее нынешнему читателю. Владимир Лакшин попытался это сделать, в его статье есть ссылка на Бориса Пастернака. В 1935 году, приехав на конгресс в Париж, Борис Пастернак не захотел увидиться со стариками-родителями, которые из Лондона специально приехали в Париж увидеть сына.

«Иное поведение, – пишет Лакшин, – было бы самоубийственным, и не нам теперь... судить, как должны были они поступить».

А. Т. Твардовский судил себя сам, без снисхождения. Так что не к чему его защищать.

Поначалу, прочитав воспоминания брата, я был смущен и огорчен, но возникло и другое чувство, история эта сделала Твардовского ближе. Открылся человек, что испытал те же страхи и слабости, что и мы, грешные. Он тоже не избежал их с той разницей, что страдания вырастили его совесть и эта совесть породила бесстрашие его раскаяния, которое он не прятал. Образ Твардовского тем и велик, что он искупил грехи поколения, колеса истории не переломили его, страх не поселился в нем навсегда, как во многих из нас. А ведь сталинский страх прочно откладывался в душах. Я из другого поколения, но ведь и мои страхи засели во мне надолго, некоторые навсегда.

Страх, пережитый совестливой натурой, сублимируется в стыд, и он долго терзает человека. Старая поговорка гласит: «Страшно в лесу – стыдно дома». Ныне похоже, что мы дома, и пришел стыд. Мужество Александра Твардовского в той неравной борьбе, какую он вел с режимом Хрущева, затем Брежнева, питалось и этим стыдом, хотя до «дома» было далеко.

Уроки советской жизни учили одних слабости, других силе.

Мы ехали в Японию. То были семидесятые годы, очередной зажим, процессы над диссидентами, угрозы. Переводчица, милая женщина, уже в возрасте, по дороге, в самолете, предупредила меня: «Имейте в виду, со мной надо быть осторожнее, если меня станут допрашивать и при этом бить, я все могу выложить, я боли не выдерживаю, со мною это уже было».

Когда-то, на допросах, она убедилась в своей слабости и теперь не устыдилась предупредить меня.

1937 год породил массовый страх, который искажал характер народа. Пассивно подчинялись судьбе. Родные, знакомые репрессированных робко просили за своих. Не решались настаивать. Не требовали освобождения, старались выяснять, в чем обвиняют их близких, как будто это имело какое-то значение. В трепетном страхе добивались – «за что» взяли, надеясь, что это «за то» очертит круг недозванного.

«Чур меня». У древних славян «Чур» был властителем над чертями. Его всегда как сберегателя призывали в крайней опасности и старались заручаться. «Чур меня», – шептали по ночам, прислушиваясь к шуму подъехавшей машины, к стуку сапог по лестнице – куда идут, может, минуют, куда звонят, слава Богу, – к соседям.

Люди избегали встречаться в компаниях. Это входило в задачи «органов» – разъединить общество, нарушить связи между людьми. Чем гуще, тяжелее атмосфера страха, тем было для власти лучше.

Страх тех времен стал самым стойким из наших чувств. Мы избавились от страха войны, страха капитализма и прочих наваждений. А вот страх доносительства, страх «органов» – от него никак не оправиться, он и поныне передается по наследству. Многие уверены, что «там, на Лубянке, или еще где-то копят материалы, ведут досье, чтобы в подходящий момент предъявить».

Мы не уверены в прочности новых демократических порядков, где-то под почвой нам слышится тектоническое клочкотание. Такое «бытие во страхе» бесследно не проходит. Психика сдвинута. Подозрительность осталась. Осторожность высказываний – не проходит. Ложь вошла в обиход, ее не замечают, она, как мимикрия, стала естественной. Мы остаемся готовыми к повиновению. Это все осложнения от долгой болезни страха. Перейдут ли они в генофонд народа, как удастся их изжить – никто не знает.

XIV

Заведовал нашей кафедрой профессор В.В., лауреат, автор многих книг, потом его сделали членкором, точнее, он сделал себя, добился. Воплощенная галантность и респектабельность. У него не было одной ноги, ходил на костылях, вызывал сочувствие. Тогда, в пятидесятых годах, его принимали за инвалида войны, хотя ногу он потерял в «транспортном происшествии». В институте его боялись, что-то темное, зловещее чувствовалось в нем. Поговаривали, что во времена борьбы с низкопоклонством (была среди прочих и такая кампания) он давал материалы на

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
некоторых преподавателей. Мы, аспиранты, боялись его не за прошлое, внушала страх его улыбочка, его манера вглядываться, от него исходило чувство опасности. Мы были фронтовики, бывшие солдаты, но это была опасность, неведомая нам, какая-то скрытая... Во время кафедральных совещаний он слушал выступления и в глубине его студенистых глаз проблескивало: «А все ты врешь, голубчик, на самом деле ты иначе думаешь».

Однажды мне пришлось докладывать на кафедре о строительстве гидростанций на равнинных реках, о так называемых «великих стройках коммунизма». Перед этим я побывал на некоторых из них, в частности на Куйбышевской ГЭС, на Днепре.

Меня, инженера, поразила бесхозяйственность в зонах затопления. Как безграмотно проектировали и строились рыбоходы, явно рассчитанные на гибель волжских осетров. Вообще вся затея с этими гидростанциями выглядела более чем сомнительной. Делалась она скорее в интересах чекистов, чем в интересах энергетики. Работали на этих стройках коммунизма заключенные, работали плохо, кое-как. Я видел, как с ними обращались, все это было постыдно.

Ничего о своих сомнениях я не решился сказать. О возмущении – тем более. Доклад выглядел вполне благополучным, в стиле докладов тех лет, радужные перспективы, ленинский план ГОЭЛРО и тому подобное.

– А меня уверяли, что вы считаете волжские гидростанции ненужными, – сказал профессор и наклонился вперед, приглядываясь ко мне. – Более того, вредными. А? Что эти великие стройки губят Волгу? А?

Я попятился, замычал что-то неопределенное, но он настаивал, добивался, чтоб я отчетливо отказался, заклеил подобные предположения.

Мне потом говорили, что В.В. провоцировал меня, обычный его прием, что я правильно сделал, что сдержался, но я-то знал, что я не сдержался, а просто-напросто струсил. Меня остановил страх. Я не мог переступить. Чего? Сейчас, уже спустя столько лет, трудно в точности определить. Сохранилось, отчетливо помнится, чувство унижения и стыда. После я несколько раз пытался вернуться к тому разговору и переступить. Не мог. Я мечтал сказать ему при всех: «Хватит, на самом деле я против, я не согласен с тем, что творится, я вам могу доказать!» Я собирал и собирал доказательства, чтобы взбунтоваться и выложить их. Проходил месяц за месяцем. Я все откладывал, не мог набраться духа. В.В. утверждался в своей непререкаемости. Никто не осмеливался восстать. И он пользовался нашим страхом, эксплуатировал его.

В конце концов я ушел с кафедры, но, уходя, так и не высказал ему того, что думал о нем. А как хотелось. Его ненавидели, презирали, но думаю, что так до конца жизни он не узнал об этом. То мое отступничество осталось грехом, который уже не исправить. Если б единственным! Чего я боялся? Ведь в тех случаях, когда находил в себе силы переступить (побороть страх), небо не рушилось, меня не казнили, появлялось чувство самоуважения. А потом опять страх возвращался. Никак не удавалось избавиться, изгнать его окончательно. И вместо того чтобы сказать то, что хотелось, поступать по совести, искал компромиссы, ограничивался полуправдой. Иногда я пытался объяснить свои страхи генетически. Так, я необъяснимо боюсь крыс. Кто боится пауков, кто лягушек. Петр Первый панически боялся тараканов, Наполеон боялся темноты. Эти страхи у каждого свои, они доходят к нам как неразгаданные сигналы от далеких предков. О чем свидетельствуют эти древние страхи, никому не известно.

Мы нажили себе при жизни социальные страхи. Рабская наша психология откладывалась, слой за слоем, арестами, проработками, расстрелами, безнаказанностью начальства, торжеством палачей. Ничего генетического в ней нет. Наши внуки уже свободны от наших страхов. Теперь, когда все можно говорить, когда каждый щеголяет своей смелостью, мои прежние поступки стали укорять меня. Хочется исправить то поведение, да ничего исправить нельзя. Мы обречены жить с грехами прошлых страхов, так же как с прошлыми разочарованиями, утраченными идеалами. То же самое набирает каждое поколение. Свои иллюзии, свои ошибки, свои страхи. Я вижу, как появился и незнакомый прежде страх – выйти ночью на улицу, страх безработицы, страх банкротства банка... Но от этого моя ноша не становится легче.

Россия со времен Ивана Грозного жила в страхе. Страх то убывал, то возвращался, но всегда работали либо Тайный приказ, либо III отделение, либо ВЧК, ОГПУ, КГБ. Сажали на кол, вешали, колесовали, четвертовали, расстреливали. То же самое творилось в Швеции, Франции, Голландии, Чехии. Там еще жгли на кострах, там смачно лязгал нож гильотины. Работали пыточные камеры, изобретали новые орудия пытки – электрошок, уколы, психологические пытки.

Летопись способов устрашения – самый гнусный раздел человеческой истории. Тоталитарный режим прежде всего опирается на систему доноительства. Социалистические страны развили доноительство, наверное, до самых больших пределов. Говорю «наверное», потому что размеры этого доноительства, число людей, вовлеченных в эту работу, до сих пор неизвестно. Власти каждой страны скрывают списки, слишком они велики. Публикация их травмировала бы миллионы семей. В каждом учреждении, в школе, в больнице, редакции – всюду имелись свои стукачи. Некоторых чуяли, некоторые сами, нарочно, засвечивались. Органы вызывали к себе, заставляли подписывать «о неразглашении», поощряли бесплатными путевками в заграничные поездки или, наоборот, наказывали, делая невыездыми.

Обнародовать фамилии стукачей – значит породить новый вал трагедии.

В 1992 году сменилось руководство КГБ. Один из моих знакомых писателей позвонил к своему приятелю, получившему назначение в обновленный Комитет. «Послушай, – сказал он, – не могу ли ознакомиться со своим досье, все же интересно». – «Пожалуйста, – ответил его старый товарищ, – это не проблема, мы сейчас стараемся идти навстречу, особенно тем, кто натерпелся от прежнего аппарата».

Через два дня раздался звонок, писатель услышал голос своего друга: «Твое досье лежит передо мной. Я посмотрел его. Не советую тебе читать его». Больше он ничего не сказал. В голосе человека бывает больше информации, чем в словах, которые он произносит. Мой товарищ не стал ни о чем расспрашивать. Досье он так и не прочел.

Прочсть – то есть узнать. Он побоялся узнать.

Страхи прошлого хочется похоронить, не открывая крышки гроба. Они были безымянны, пусть и уйдут безымянными. Я не раз наблюдал, как люди избегают знать, кто на них доносил, кому они обязаны своими бедами. Это новый страх – лишиться, может, близких друзей, а может, и родных. Осведомители могли оказаться и в семье. Эта всепроникающая угроза стукачества не отпускала человека, где бы он ни находился. В доме отдыха, в поездке за рубеж, в твоей группе уж непременно, в коммунальной квартире, на вечеринке, в телефонном разговоре. Все были убеждены, что их прослушивают. Никакие доводы, ссылки на то, что технически невозможно прослушивать, записывать одновременно десятки тысяч разговоров, – не действовали. Одна из распространенных фраз была (да и остается до сих пор): «Это не телефонный разговор!» В том смысле, что нас слушают многие; считали, что в квартире имеются «жучки» – подслушивающие устройства. Порой эта обстановка приводила к психическим расстройствам. Дома переходили на шепот. Уединялись в ванную, там включали воду. У себя дома смотрели на телефонный аппарат, как на врага, прикладывали палец к губам – т-сс. Закрывали его подушкой, выключали его. Знатоки сообщали, что разработаны такие устройства, когда из машины, стоящей на улице, могут направлять микрофон на ваше окно и слышать разговоры в комнате. Передавали истории о том, как у соседей устанавливали «прослушку», прикрепленную к вашей стене. «Органы» специально внушали населению – вам не уберечься от нас!

Ко мне пришел писатель Д. (ныне покойный) и на ухо рассказал, что у него была операция, делали ее под наркозом и вставили ему в живот микрофон, он это чувствует, и теперь они день и ночь слушают его. Не может ли Союз писателей как-то избавить его от этого. Бедняга страдал типичной для тех лет маний преследования.

В той или иной мере вся страна болела этой фобией. Болезнь эту никто не лечил, с ней не боролись, ее поддерживали. Выгодно было, чтобы люди думали, что большое ухо всюду их слышит. Чем меньше «разговорчиков», тем лучше. Боятся, преувеличивают – и хорошо. Крепнет убеждение в силе власти, ее могуществе.

3. Фрейд называет фобией непреодолимый навязчивый страх перед каким-то явлением.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Есть житейские страхи и специальные страхи. Фобия – явление патологическое. Страх подслушивания был всеобщей фобией. Нигде человек не чувствовал себя защищенным. Он жил как бы под неусыпным оком и ухом, ему нигде было укрыться. Все просвечивалось. Кругом рентгеновские лучи – невидимые, неслышные, но где-то стоит экран и видны на нем все ваши внутренности.

На самом деле все носило ограниченный характер. Подслушивали, но немногих, следили – за немногими.

В девяностые годы в журнале «Новое время» бывший заместитель председателя КГБ по Ленинграду О. Кулагин написал, что среди деятелей культуры прослушивали систематически Д. С. Лихачева, Г. А. Товстоногова и Д. А. Гранина. Значит, всего лишь троих. И то, я уверен, халтурили. КГБ не представлял исключения, работал он плохо, бессистемно, как и все в стране. Настоящих шпионов ловить не умел, но обстановку повального сыска, доносительства, страха – создал. Все силы КГБ были направлены на запугивание, на внутренний террор.

Россия не исключение. Подобное доносительство развито не в меньшей степени в Европе, в США. Причем добровольное. Соседи подглядывают, пишут в полицию, в мэрию. Злорадно сообщают о всяких нарушениях и подозрениях.

Природа доносительства связана не только с законопорядком. Какие-то подспудные силы заставляют человека доносить на другого в силу вражды, зависти.

Были, конечно, убежденные доносители. Охранительная идеология имела своих энтузиастов.

Популярный немецкий поэт и певец Вольф Бирман в 1994 году показал мне несколько томов своего досье. Это были папки тех дел, которые наработало штази за годы слежки. Там подшиты были донесения день за днем. Фотографии всех, кто входил в его берлинскую квартиру и выходил из нее. Записи телефонных разговоров, сведения о его знакомых, отчеты агентов. Целая группа занималась им круглосуточно. При всей своей известности Вольф Бирман был всего лишь поэт и певец. Его же возвели в ранг опаснейшего преступника. Наблюдение вели из соседнего дома. Дежурили фотографы, агенты штази дежурили у подъезда. «Жучки» были установлены во всех комнатах. Глупейшая работа длилась годами. Где результаты? Какие могли быть результаты? Бирман сочинял песни, стихи, распевал их, ничуть не боясь навязчивых наглых соглядатаев. Его боялись. Страх доводил штази до явного абсурда.

Бирман не был исключением. Мне показывали копии своих досье и другие восточные немцы. В донесениях были тщательно вымараны фамилии осведомителей. Но осталась нелепость, неумелость работы штази.

Слухи, сплетни, всякая чушь аккуратно собиралась и вписывалась в донесения.

В центральной именной картотеке штази имеются шесть миллионов карточек, по которым можно найти досье. То есть на каждого третьего гражданина ГДР заведено было досье. По этим цифрам можно судить и о масштабах (доселе неизвестных) деятельности КГБ в СССР и в других странах соцлагеря. Километры магнитофонной ленты подслушанных разговоров, кипы бумаг – огромное хозяйство департаментов Страха, десятки, а может, и сотни тысяч его служителей.

XVI

Технологию создания страха у подданных разработал еще Никколо Макиавелли. Недаром Сталин тщательно читал его книгу «Государь». Макиавелли учил, что если люди что-то уважают, так это силу, сила внушает им страх. Следовательно, государь должен обеспечить себя силой. Силловые министерства, силловые подразделения – главная опора государя.

«Худо придется тому государю, который, доверяясь их посулам [Речь идет о министрах. – Д.Г.] не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием или благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания,

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти».

Далее Макиавелли советует не посягать на имущество – «ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества». Применять жестокие меры следует там, где это вызывается необходимостью. Государь не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, ибо избыток милосердия потворствует беспорядку.

Он разбирает вопрос, что лучше – чтобы государя любили или чтобы его боялись? Поскольку любовь плохо уживается со страхом, «то надежнее выбирать страх». Далее следуют практические рекомендации, которые напоминают нам действия «государей» нашего времени.

Хорошо, если фортуна сама посылает врагов, которых надо сокрушить, чтобы, одолев их, подняться выше в мнении подданных. Однако «мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы одержав над ними верх, явиться в еще большем величии».

Стоит обратить внимание на слова «и сам должен», то есть не жди у моря погоды, на бога надейся, а сам не плошай, и тому подобное. Так оно и делалось на протяжении трех четвертей века и в Советском Союзе, и в Германии, и в прочих странах диктаторов. Создавали врагов в виде оппозиции, кулачества, вредителей, евреев, цыган, коммунистов, их разоблачали, истребляли, проклинали.

Философия Макиавелли была реалистична и для Италии XVI века, и для Франции, и для Пруссии, ею пользовались в каждую эпоху, ибо не было эпохи, когда бы не торжествовал цинизм властителей жестоких и безнравственных. Но Макиавелли соединял жестокость с разумом, аморальность с правопорядком. В нем проявляется кентавр. Кентавризм, соединение несоединимого, является свойством абсолютизма. От Макиавелли отрекались, его поносили и тщательно изучали. Ни у кого из философов не было столь прилежных и сиятельных учеников, как у него. Самые лицемерные, жестокие деяния новой истории можно рассматривать как достижения Макиавелли.

Страх, внушенный безликим понятием власти, государства, причиняет ужасные пытки. Он не покидает своего пленника ни на минуту, забирается в сновидения, в семью, в развлечения.

Совершенно бесстрашных людей не бывает. Реальные страхи можно преодолеть рассудком. Но как отвести страхи воображаемые, страхи возможностей, идущие от той машины, которая хватает без разбору, от дракона, которому нужны новые и новые жертвы.

Все силы уходят на борьбу с воображаемыми опасностями. Одолевать их не удавалось. Если я скрыл в анкете, что мой отец был репрессирован, что у нас были родные за границей, то многие годы опасался, что это откроется. Меня разоблачат, выставят на позор, лишат, исключат... Воображение разыгрывалось, рисуя ужасные сцены. Вызывал директор, и по дороге страх набрасывается – а вдруг они узнали, вызнали? Никак не удавалось оседлать страх.

Я знал одного талантливого литератора, которому грозили исключением из партии. Дело его тянулось месяцами, он измучил себя и довел до психического срыва. Почти год он провел в больнице. За это время дело продвинулось и его заочно исключили из партии. И это его вылечило. Все кошмары разом кончились. Через несколько лет дело его пересмотрели, решили восстановить в партии. Вызвали в райком, предложили написать заявление. Он отказался: не хочу восстанавливаться. Как так? Да вы понимаете, что вы говорите? И тут он вдруг воспрянул. «Я понял, что им больше нечем устроить меня, – рассказывал он мне. – Я исключен! То есть я свободен! Им меня не достать!»

Действительность большей частью не настолько ужасна, как возможность, которую мы сами увеличиваем до гигантских размеров.

Я помню так называемое «Ленинградское дело», когда в Ленинграде арестовывали

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
руководящих работников, сперва городского масштаба, за ними районных, как эта эпидемия ширилась, забирали уже и рядовых, никто не знал, где это кончится. Появилась обреченность, ледяной страх заморозил все чувства. Люди погрузились в летаргию. Хлопотать, доказывать, каяться было бесполезно. Уныло ждали в каком-то полусонном состоянии. Страх все же оставляет щель надежды. Что-то оттуда светит, видно то, что боишься утратить. Гаснет надежда, и вместе с ней страх. Если нет надежды, то все потеряно, а когда все потеряно, даже отчаяние, то нечего бояться. Остается тупое ожидание.

Так страх пожирал и без того короткие жизни, ничего не оставляя, кроме горечи омраченных дней.

XVII

Трагедия Софокла «Антигона» считается царицей трагедии. Я коснусь конфликта принципов двух ее главных героев: Антигоны и правителя Креонта. Напомню, что Антигоне необходимо похоронить тело ее брата Полиника, невозможно оставить его непогребенным. Ее дядя Креонт считает Полиника мятежником и под страхом казни запретил предавать труп земле. Погребение мятежника – угроза престолу, призыв к беспорядку. Креонт видит свой долг в сохранении порядка в городе. Антигона не оспаривает прав власти, она утверждает существование более высокой реальности, которая открылась ей в любви к брату. Этой любви должен подчиниться политический порядок. Антигона – свободная душа, она выбирает себе обязательства любви, что в глазах Креонта есть нарушение закона, которому он преданно служит. Антигона готова на смерть, роковой порядок не может остановить ее, потому что он стесняет свободное проявление ее личности. Креонт не в силах отказаться от своей ответственности перед обществом, которое доверило ему порядок. Правда, сохранить порядок – значит сохранить власть. Его долг подозрительно совпадает с властолюбием. Его вкус к власти есть вкус к жизни. Он боится за город, заодно и за себя. Его постоянно снедает страх утратить свою власть. Сущность Креонта – страх. Страх лишает его свободы и возможности понимать свободу Антигоны. Власть неразрывно связана со страхом. Страх – способ ее существования. Она внушает страх, дабы управлять, и в то же время сама испытывает страх, Креонту всюду мерещатся заговоры, враги. Угроза потерять дорогих ему людей не останавливает его, и он лишается сына, племянницы, жены. Остается лишь его престол, за который он судорожно держится. Креонт – жертва страха. Он казнит Антигону, он перед нами наг, и в этой наготе возникает сочувствие к нему, потому что по-человечески нам ведом его страх, мы смутно признаем право правителя низкими, жестокими способами сохранить порядок. Более того – мы готовы требовать от него твердости.

У Антигоны любовь на первом месте. Любовь – к брату – открывает в ней законы сердца, они сильнее законов Креонта. Он ненавидит любовь, в ней семена свободы, неподчинения, неподвластные страху.

Античность дает еще один поучительный пример возвышения человека над страхом. Этот пример – суд над Сократом. Над ним немало раздумывали и до сих пор толкуют его по-разному.

Суд в Афинах счел Сократа нечестивцем. На самом же деле Сократ заявлял, что единственное, что он твердо знает о божестве, это то, что ничего определенного о нем он не знает. За это его обвиняют в атеизме. Не будем, однако, углубляться в подробности и причины афинских страстей, пылавших вокруг Сократа. Все знаменитые процессы над великими людьми оказывались несправедливыми. Вспомним Жанну д'Арк, Джордано Бруно, Галилея, Яна Гуса.

Суд приговорил Сократа к смерти, что для Афин было редкостью. Суд имел в виду, что Сократ попросит помилования, ему надо было обещать молчание, прекратить свои речи. Он мог согласиться и на изгнание. Ни на одном из процессов над философами смертные приговоры в Афинах не приводились в исполнение. Казнили только Сократа.

Представляется, что Сократ добивался своей казни настойчивей, чем его судьи. Вот тут и заключено самое трудное для понимания.

Трибунал заседал на площади, публично разбирая дело Сократа. Толпа бурно отзывалась на речи обвинителей и реплики Сократа. Он защищал себя сам. Речь свою он построил в виде беседы с судьями и народом, горожанами. Казнь, смерть нисколько не беспокоит его, задача у него не защитить свою жизнь, ему хочется

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
привести и суд, и афинских жителей к пониманию справедливости. Он говорит:

– Если вы меня приговорите к смерти, вы причините вред себе, а не мне. Вас сочтут несправедливыми. Не себя я защищаю в эту минуту, я защищаю вас!

В его поведении нет и следа страха, и это злит толпу. Она не понимает такого высокомерия.

– Откажись, Сократ, уступи, – настаивают кругом него. – Мы не хотим тебе зла, перестань всех учить!

Сократ не сдается. Он заявляет, что он – тот, кого бог дал Афинам, «чтобы вы сделали лучше. Если вы меня казните, вам вторично не окажут такого благодеяния».

Его заносчивость еще больше раздражает. Сократ провоцирует несправедливость, требуя справедливости.

Приговор не окончательный. Суд готов принять штраф и отменить приговор. Сократ не согласен: штраф либо бегство, что предлагали ему друзья, значило признать себя виновным. Он не виновен. Пусть покарают невиновного, чтобы увековечить несправедливость, чтобы худшая несправедливость предстала перед всеми Афинами и научила их чтить справедливость.

Более того, он вызывает ярость суда, требуя себе награды за свое учение: награда или смерть, и никаких компромиссов. Берегитесь, нельзя избавиться от истины с помощью казни! Наоборот, казнь заставляет людей задуматься, она остается навсегда в памяти как несправедливость.

Так и произошло. Он оказался прав. Несправедливость, учиненная над Сократом, вошла в историю вечным примером того, как человек обретает бесстрашие во имя принципов, важных для всех людей. Поведение Сократа не для подражания: поступки гениев и святых не под силу обыкновенным людям. Но гибель Сократа вот уже две с половиной тысячи лет не дает покоя, волнует людей, и это прекрасно.

XVIII

Перебирая историю человечества, убеждаешься, что страх был вездесущ. Вплоть до конца XVI века города запирались на ночь. Стражники не пускали чужих. Легенды и поверья убеждают, что замки были полны привидений. Шла охота на ведьм. Они летали ночью на свои шабаши, вступали в связь с дьяволом, духовную и плотскую. Наводили порчу на людей, на скот. От их колдовства появлялись засуха, эпидемии. Они могли быть безобразными, красотками. Их ловили, жгли на костре, пытали. Вся средневековая Европа боролась с ведьмами.

Колдуны давали обязательство демону делать людям зло, за это они получали могущество. В свою очередь, человек продавал душу дьяволу и пользовался за это земными благами.

Колдунов тоже сжигали. В Швейцарии последнего колдуна сожгли на костре в 1652 году в Женеве. Однако в Венгрии в Сегеде 13 колдунов были сожжены еще в 1739 году. Это безумие в Европе закончилось только к середине XVIII века. К этому времени в одной Англии уничтожено было до 30 000 колдунов. В 1766 году казнь заменили позорными столбами и тюрьмами за «вызывание злых духов и за старание войти с ними в сношения».

Вальтер Скотт написал чрезвычайно любопытную демонологию, которая дает широкую картину средневековых страхов.

Страшнее колдунов был черт. Покрытый черной шерстью, с рогами, хвостом, копытами. Он происходил из падших ангелов, умел превращаться то в кошку, то в странника. Черти вмешивались в жизнь людей, вводили в грех, провоцировали на преступления. Они соблазняли, покупая души людей, заключали договоры на служение дьяволу. Были еще бесы, бабы-яги, кощеи. Мир был полон страхолюдной нечисти. В лесу водились лешие – русские фавны, в озерах и реках – водяные, они утаскивали людей на дно, топили купающихся. В домах жили домовые, которые творили пакости. Злые духи окружали, подстерегали, набрасывались, сосали кровь. Рядом с каждым

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
правоверным пребывал шайтан – злой дух. Вся эта дьяволиада подстерегала человека, внушала ему ужас и трепет.

Все охотились за его душой.

Оборотни у всех народов изображаются чудовищами. Баснословные эти существа шляются повсюду и пугают людей. Баба-Яга, это страшилище, сидит в железной ступе и имеет железный пест, живет в избушке на курьих ножках.

Народная фантазия была неисчерпаема, конкретна, живописна, тысячи легенд, сказок, басен описывали похождения злых сил. Нечисть вся состояла из живых существ, диких звери, сочлененные из ослиных хвостов, копыт, рогов, человеческих глаз, пахнущие козлом, серой, паленой шерстью. Они гнусавили, шептали по-человечьи. Нечистая сила хитрила, принимала ангельские обличия.

Бесы – ангелы Сатаны, мастера злобных внушений, искусители монахов, всегда надевали лживую личину. То они являлись в виде блудницы, то любовника. В новой истории они являются в образе черта у Гете, у Достоевского, у Томаса Манна, у Булгакова, у Гоголя...

Темнота таит в себе первобытные страхи, чувство беззащитности. В мире мрака безнаказанно властвовали злые силы. Заговор Сатаны против христианского мира связывался с мусульманской угрозой. Лютер испытывал страх перед турками. В начале Нового Времени врага стали видеть в иудаизме.

Страх исходил и от женщины, как богини смерти. Медея – мать-убийца своих сыновей, индуистская богиня Кали – украшенная черепами своих жертв. «Женщина вызывает в подсознании мужчины тревогу не только потому, что она судит о его мужском достоинстве, но еще потому, что она в его глазах подобна священному ненасытному огню, всепоглощающему, который нужно все время раздувать», – пишет Жан Делюмо, известный французский историк.

Успехи цивилизации и культуры, на первый взгляд, как бы обессилили прежние страхи, иные и вовсе ликвидировали. Кончилась охота на ведьм, погасли костры инквизиции, исчезли привидения. Электричество рассеяло пугающую тьму. Рождаются зато новые страхи. Социальные проблемы рожают гнетущие страхи безработицы. Новые болезни обступают человека, не менее страшные, чем чума. Их появляется все больше. Успехи медицины велики, но, чем больше она знает, тем больше опасностей открывает она для человеческого организма. Жизнь кажется все более хрупкой, ненадежной. Слишком много врагов подстерегает нас повсюду – радиоактивность, химические удобрения, вирусы, неочищенная вода, воздух, озоновая дыра, выхлопные газы, электромагнитные поля...

Появление озоновой дыры вызвало очередное предсказание ученых о гибели жизни на планете. Похоже, что каждая наука выдвигает свои проекты гибели. Таяние льдов Арктики сменяет столкновение с очередной кометой, биологи предрекают гибель от генной инженерии, которая вот-вот создаст нечто такое, от чего нет защиты. Особенно стараются экологи, но по понятным соображениям они обещают гибель от загрязнений воздуха, воды, нехватки кислорода, поскольку вырубают леса, демографы гонят вверх кривую перенаселения. Кроме того, приготовлена серия социальных конфликтов планетарного масштаба, национальных и религиозных.

Каждая угроза проверена, мотивирована и утверждена ученым синклитом. Так что выбор у человечества богатый.

Страхи множатся... Отчасти гасят друг друга. Отчасти усиливают сознание конца света. Не от одного, так от другого. Постепенно множественность оупляет. Человечество пока что не в силах решить проблемы своего будущего. Фашизм, нацизм, сталинизм показали, как легко народы скатываются к самоубийственному безумию.

Разум беспомощен, если человек лишен надежды. Но откуда ее брать?

Итак, страхи не убывают, они множатся. Суеверия, предрассудки окружают человека все тем же мохнатым кольцом, наука как бы отгоняет злых духов, но не может их уничтожить. Однако, как ни странно, сам страх бывает нашим союзником, он способен на чудесное превращение.

Человеческий характер подвижен. Поступки зависят от обстоятельств, одни и те же обстоятельства оцениваются по-разному, сегодня так, завтра – иначе. Человек – создание текучее, страх может вызвать поступки трусливые, а может и подвигнуть на бесстрашие.

У Монтеня есть интересный пример на нашу тему: «Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом... один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя в своем малодушии иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелейший урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту же самую цену, за которую мог бы купить блистательную победу».

Кошка, загнанная собакой в угол, не имея выхода, показывает чудеса храбрости. Точно так же и человек от страха и отчаяния превращается в смельчака. Страх может обратиться в отчаяние, которое внешне выглядит, как мужество, во всяком случае неотличимо от безумства храбрых. Дело в том, что сам человек не в состоянии определить свои качества, он-то знает, что они зависят от обстоятельств. Поступок, допустим, добродетельный на самом деле совершен из-за стремления к славе, а может, к тому были тайные причины, выгоды. Человек сам себе не всегда признается в истинных побуждениях. Человек – тайна от самого себя. Однозначные его определения существуют лишь для внешнего наблюдателя.

Есть устойчивые качества личности, поэтому в одних и тех же обстоятельствах люди действуют по-разному. Один робеет, другой проявляет стойкость, третий становится агрессивным, четвертый ищет компромисс и т. д. Это зависит от первичных качеств личности, заложенных воспитанием, религией, физическими особенностями, всей многомерностью индивидуума.

Но, пожалуй, из всех жизненных обстоятельств страх обладает особой гипнотической силой, он может одинаково парализовать самых разных людей. Никакие мечтания не могут возбудить воображение так, как страх. Картины, одна ужаснее другой, появляются, сменяя друг друга, томят, мучают. Правильно подмечено, что у страха глаза велики. Сильный страх снимает боль. Извечно борются между собой любовь и страх, эти два самых сильных чувства, отступает то одно, то другое. В самой любви таится страх. Чем сильнее любовь, тем больше в ней страха.

В моей юности была любовь, в которой я так и не посмел признаться. Духу не хватило. Оглядываясь на прошедшее, вижу, что меня останавливало не что иное, как страх. Безотчетный страх, в котором не было ничего вразумительного. Не опасался, что она отвергнет мое признание, страх был в чем-то другом. Невозможно было преодолеть себя, решиться. Это был страх нерассуждающий, лишенный каких-либо явных причин, у меня просто перехватывало дыхание, я не мог добраться до нужных слов. С виду никто ни о чем не мог догадаться, и она тоже. Разговаривая с ней, я шутил, дерзил ей – на это хватало смелости, а вот дальше продвинуться не мог, не было сил произнести заветное – «я люблю тебя». К этим трем словам невозможно было приблизиться, словно черная пропасть, они влекли и отпугивали. Я укорял себя за малодушие, трусость и не мог переступить. Теперь, издали, сквозь прошедшую жизнь, я плохо различаю величину того страха, его оттенки.

Однажды, спустя полвека, я встретил ее, мы не сразу узнали друг друга. Смеясь, я вспомнил, как не посмел объяснить ей в любви. Произнес это легко, весело. Она же погрузилась, сожалея о той моей юной робости. Оказывается, она тогда ждала этого признания. Как все оказалось просто, какие мы громоздим себе страхи. Кто не сумеет оседлать их, тот не достигнет своих желаний. Увы, большей частью наши опасения напрасны, страшно, пока видится, а делается – стерпится.

– Ты боялся объявить о своей любви, – сказала она. – Любить – значит признаться самому себе, с этим трудно справиться. Тебе было всего семнадцать.

Любовь полна страхов: потерять любовь, любимого человека, страх перед соперником, изменой...

Любовь погибает, освобождая одного и обездоливая другого. Быть отвергнутым – позорище, крах, свет меркнет, жить не хочется, все постыло, обязанности

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
кончились, все скрепы с жизнью оборваны. Можно повеситься, можно застрелиться, если есть из чего. Или выпить уксус, принять горсть снотворного. «Любовная лодка разбилась о быт...», «До свиданья, друг мой, до свиданья...» Так писали два великих поэта, Маяковский и Есенин, оба перед самоубийством. Никто с точностью не может сказать, только ли из-за любви они покончили с собой, но каждый из них в предсмертных стихах говорил прежде всего о личном крушении. Наверное, из общего числа самоубийств, совершаемых в мире, две трети совершается из-за неудачной любви.

XIX

Как-то осенним вечером мы гуляли с Г. А. Товстоноговым. Он был в зените своей славы. Великий режиссер, он создал замечательное созвездие актеров Большого драматического театра, создал по существу и сам этот театр, который вошел в историю как театр Товстоногова.

Гранит набережной искрился под желтым светом фонарей. Жаль было этот город, который достался бездарным хозяевам.

Георгий Александрович рассказывал мне о своих схватках с партийными идеологами. Каждый спектакль «они» принимали подозрительно. На приемке выдвигали бесконечные поправки, требования, это в лучшем случае, в худшем – могли запретить спектакль. Такое бывало. Новаторские постановки Товстоногова не нравились начальству. И сам он, несговорчивый, излишне умный, излишне талантливый, для этих партийных надсмотрщиков был опасен. Его приручали по-разному. Сперва угрозами – не помогло. Потом подкупали. Давали премии – не могли не давать. Спектакли Товстоногова гремели на всю страну. Заграничные гастроли вызывали овации. Но премии считались как бы благосклонностью партийного начальства. Сделали его депутатом Верховного Совета СССР. Именно сделали. Первый секретарь Ленинградского Обкома так и сказал Товстоногову: «Что же вы конфликтуете с нами? Мы вам дали премию, мы вас сделали депутатом СССР, а вы... Нехорошо».

– Представляете? – говорил мне Георгий Александрович. – Хотя бы для приличия сказал – «Мы вас выбрали», нет – «сделали»! Каков?

Он рассказывал, как театру отказали в выезде за рубеж. Сорвали гастроли. Готовы были заплатить неустойку в валюте, но настоять на своем, лишь бы наказать строптивного режиссера. Рассказал, как лично ему, депутату, лауреату, народному артисту, не дают поехать на фестиваль в Италию. Препятствия, которые ему чинили, не укладывались в моей голове – неужто он не может потребовать, пожаловаться, выступить перед западной общественностью? Все же и тогда, в семидесятых годах, несмотря на засилье цензуры и партийного самоуправления, можно было протестовать, особенно такому известному во всем мире художнику.

– Что они с вами могут сделать? Ничего! – убежденно доказывал я. – Вы защищены вашим именем.

Я, который сам немало натерпелся от партийных церберов, был уверен, что уж Товстоногов им не по зубам.

И вдруг он сказал мне:

– Вы знаете – я их боюсь.

Его признание поразило меня. Чем поразило? Да тем, что на самом деле и я их боялся. Но не смел себе признаться, а Товстоногов смел.

Он боялся их как человек, он прекрасно представлял возможности этой политической системы, ее аморальность. Но когда он ставил спектакль, он забывал о всех опасениях.

Спектакль «Горе от ума» открывался цитатой из Пушкина, она высвечивалась на светлом занавесе огромными буквами:

«Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом!»

Одно это в те годы вызывало оторопь. Крамола явная, вызывающая. Она читалась без

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
всякого подтекста, прямым указанием на удушающую петлю советской власти.

Он повернул пьесу «Горе от ума» так, что бесцветный раблепный чиновник Молчалин стал главным героем, за ним было будущее. Успех ждал подхалима, интригана, а не героя и правдолюбца Чацкого. Так еще никто не ставил эту классику. В пьесе Горького «Мещане» он сделал рабочего Нила, всегда изображаемого революционером, человеком страшноватым, разрушителем устоев прежней налаженной жизни, «грядущим хамом». Это была совершенно новаторская, бесстрашная трактовка. Постановки Георгия Товстоногова каждый раз становились явлением общественной социальной жизни, не только культурной. Феномен Товстоногова – яркий пример того, как талант заставляет художника одолевая любой страх, любые опасения. Пусть он как человек боится, трепещет перед сильными мира сего,

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепетается,
Как пробудившийся орел.

XX

Божественный глагол диктует поэту не считаться со вкусами и требованиями земных правителей. Художник в такие минуты великан, собственное малодушие отступает, он одолевает любые запреты. Я говорю об истинном художнике, истинность его удостоверяет именно диктовка, он превращается в писца, который записывает – музыку, стихи, картину. Он исполняет божественное веление.

До обыкновенного художника, кто совсем не гений, божественный глагол не доходит. Вырваться из пут запретов и собственных сомнений он не в силах. Даже талант не всегда помогает освободиться. Но надо оговориться: все же даже в самые глухие годы сталинского режима и позже находились художники, которые писали «в стол». Осмеливались, ибо и писать в стол требовало мужества и самоотречения.

Блестящий роман «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков писал «в стол», не надеясь на скорую публикацию. Он знал, что находится под наблюдением, и тем не менее осмелился. Булгаков не исключение. И другие не прекращали своих стараний во имя правды. Можно назвать поэта Ольгу Берггольц, писателя Андрея Платонова, художника Фалька, композитора Шнитке... Когда цензуру отменили, из столов извлекли немало произведений – мемуаров, дневников, пьес, поэм. Немало, однако куда меньше, чем ожидалось. Страх все же делал свое дело. Он уничтожал замыслы в зародыше. Он обесцвечивал картины, смягчал поступки героев.

Жил-был в Петербурге хороший художник, обозначим его М. Во время войны студентом Академии художеств пошел добровольцем в армию. Вскоре, в 1942 году, он попал в плен. Узнав, что он художник, лагерное начальство решило проверить это. Велели сделать портрет одного офицера. Он сделал. Заказали еще. Понравилось. Мало того, нашлись знатоки, которые оценили талант юноши. Его портреты отличались внутренним сходством, он умел раскрыть характер. Посыпались заказы.

Маслом он писать отказывался. Ему достали итальянский карандаш, сангину. К нему стали наезжать высшие офицеры. Может быть, его возили к немецким генералам. Он никогда не рассказывал подробностей о том времени. Когда война кончилась, он попал в руки наших особистов. Они долго мытарил его, выясняя, что да как рисовал, – старались это подвести под графу – «работал на немцев». Не получалось. Что-то не сходилось. Как уж они его там ломали, как жали на него – неизвестно. Выпустили. Он кончил Академию, стал писать картины. Талант его был таков, что сразу выделил его. Мы познакомились, когда М. был уже известным, заслуженным, лауреатом. Картины отмечались на выставках, их покупали музеи. Слава его росла. Критики радовались своеобразию его дара, хвалили его экспрессию, цветовые решения. Несмотря на наши дружеские отношения, М. держался замкнуто. Я заметил, что и от коллег он как-то дистанцируется. По своему характеру он был лидер, лидерство его признавали, и все же ему не хватало открытости. Не знаю, что способствовало нашему сближению, может, солдатское наше прошлое, может, то, что я был из другого цеха. Со мной он иногда приоткрывался. Однажды в мастерской он вытащил откуда-то из верхних стеллажей два полотна, поставил их передо мной: «Вот как я начинал». Это был тот же М., но наивнее, зато ярче и с какой-то лихой фантазией. Толпы счастливых уродцев смотрят с обожанием, что-то кричат, охваченные восторгом ненависти. И еще пейзаж со

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
старыми рассохшимися лодками. Щемяще грустный, почти безнадежный.

Чем больше мне нравились обе картины, тем сумрачнее становился М. Ему самому нелегко было смотреть на них.

– Я тогда ничего не хотел доказать, – сказал он.

Я не понял, что значат эти слова. Тогда он раздраженно пояснил:

– А теперь я все время стараюсь доказать свою преданность. Чтобы не подумали. Я, мол, с вами.

До конца дней своих он доказывал. Конечно, могучее его дарование сказывалось на всех работах. Но теперь, когда я увидел ранние его вещи, впечатление было такое, словно он говорит не на своем языке, запинаясь, с акцентом, с трудом подыскивая слова.

Когда по ходу своей работы ученому удастся приблизиться к открытию, ухватить истину, он преображается, его уже не остановить, никакие посторонние соображения его не интересуют. Его работа может привести к конфликту с дирекцией, со своими коллегами, с авторитетами – ничто его не страшит. Более всего меня поражали изобретатели. Их настойчивость, энергия превращали их в одержимых. Они были одержимы очевидностью своего создания. Они его видели, они убедились в его полезности, и теперь они готовы были на все, они боролись, они доказывали, они обличали противников; их выгоняли с работы, их объявляли психами, сажали в сумасшедший дом. Устрашить их было невозможно... Как Дон-Кихот, они сражались до конца, с любыми противниками – с министрами, академиками, – во имя своей Дульцинеи – какой-нибудь новой краски, прибора, сверла.

XXI

– Что для вас самое страшное? – спросил я у Гали.

Она помедлила с ответом всего секунду, другую:

– Одиночество!

Достаточно откровенно она рассказала, как разошлась с мужем и теперь боится остаться без друга. Мужчины кругом нее, как правило, грубы, скучны, примитивны, время идет, ей уже тридцать восемь лет, выглядит она неплохо, но поддерживать вид все труднее. Ей грозит одиночество. Пока что она живет с надеждой, погаснет надежда, и тогда будет совсем плохо. Она не представляет одинокой женской жизни, когда не о ком заботиться. Нет, нет, ей не хочется даже воображать эту тьму.

Женщины больше мужчин страдают от одиночества. Не тяготы повседневной жизни их пугают, в этом смысле они приспособленней мужчин, они бегут одиночества, их гонит древний инстинкт беззащитности, ощущение ненужности – магнит, которому некого притягивать... Многое соединяется в их страхе.

Мужчина в одиночестве остается мужчиной, женщина, приговоренная к одиночеству, теряет себя, она терзается, но и в этом ее превосходство, ее гуманность.

Преодо мною другая судьба, другой пример бегства от одиночества. Надя Б. никогда не была замужем. В молодости был один друг, второй, третий. Женская биография ее была не хуже, чем у подруг. Были родители, родные. С годами круг близких редел. У нее завязался роман с прелестным человеком, увы, женатым. Они любили друг друга, и Надя была счастлива. Она не покушалась на его семью, не добивалась развода. Она довольствовалась положением любовницы и друга. Ситуация распространенная. Мне встречались такие женщины, которых вполне устраивала эта мнимость семейной жизни, в ней они находили даже свои преимущества. Дальше с Надей Б. происходит следующее – ее любовник умирает. Внезапное одиночество обступает ее. Смысл дальнейшей жизни теряется. Друзья, товарищи, работа – все теряет цену. Она еще полна сил, но почва уходит из под ног, не за что зацепиться. Она понимает, что погибнет, она не хочет уходить из жизни, откуда наступит конец – неизвестно, то ли она заболевает, то ли произойдет несчастный случай, не важно, важно, что она обречена. Чувство неизбежности чуть не свело ее

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
с ума, но тут она заболела раком и через год умерла. Перед смертью она сказала мне: «Теперь не страшно, меня пугала неизвестность, теперь все определилось».

XXII

Душа человека многослойна. В сокровенных ее глубинах живет страх, тоска, страх, ужас перед будущим. Страх этот неопределенный.

Природа беспричинного страха мало изучена. По мысли Хайдеггера, этот страх (по его словам – ужас) связан с соприкосновением с Ничто. Подобное когда-то испытал каждый. Я помню жуткое это внезапное чувство, когда вдруг передо мною предстает Ничто. Его посещение никак не связано с боязнью чего-то конкретного. Обычный страх так или иначе идет от определенных причин, он как-то очерчен. При ужасе весь существующий мир проваливается в это Ничто. Оно доисторично, довременно, оно оттуда, когда еще ничего не существовало, оно есть край сущего. Делается жутко. «Не остается ничего для опоры» (Хайдеггер). Земля ускользает из-под ног. Исчезает все: и прошлое, и будущее, все люди, предметы – все поглощено Ничем. В нем нет ничего, чем его можно было бы определить, и тем не менее оно надвинулось и приоткрылось.

Этот отвлеченный, чистый ужас уходит сам по себе. Его и спугнуть-то нечем, любая мысль тонет, растворяется в нем.

Он как напоминание о небытии мира.

Действие, борьба – невозможны. Человек ждет, как ждут осажденные исхода битвы, сами не в силах участвовать в ней. Так ждет заточенный своей участи, не ведая, что решат судьи.

Христианская религия показывает, как Христос перед казнью погружается на самое дно человеческого страха. В Гефсиманском саду он бродил одиноко, охваченный ужасом и тоской. Страх настиг его. Пропливая слезы, он обратил моление к тому, кто мог спасти его от смерти. Священное Писание говорит, что он пережил в себе одном страх праведных всех времен. Естественный страх перед пытками и смертью он испытывал, как все люди, как слабые и малодушные, и эти скорбные минуты делают его близким любому человеку. Смертное бремя происхождения во тьме старого оливкового сада. Христос испытал там весь ад богооставленности. Холодные звезды лишали его последней надежды. Он добровольно должен был спуститься в бездну. Человеческое сознание Христа изо всех сил противилось ожидавшему его распятию.

Но вот он встает, найдя в себе силы, и безбоязненно встречает свою судьбу. Земной поддержки он не нашел. Он обрел ее на небе.

Все Священное Писание призывает человека пребывать в страхе Божьем. Говорится, что страх Божий – начало мудрости, а Мудрость среди даров Духа Святого стоит первой. Страх Божий не имеет ничего общего с рабской боязнью. Перед явлениями грандиозных сил Природы – человек ощущает свое полное ничтожество. Самомнение современной цивилизации исчезает. Человек остается один, познавая грозное величие некоего присутствия, как бы гнев Неведомого. Страх перед стихийными бедствиями отличается от религиозного страха. Космические явления напоминают как бы о высшей силе, религиозный страх есть страх сыновний, боязнь оскорбить Бога. То есть в этом сыновнем страхе присутствует любовь, которая поглощает страх.

Всякий признак страха перед грозной силой Всемогущего для верующего человека исчезает, уступая сыновней заботе о том, чтобы в мире осуществилась Божья воля.

Сыновний страх современному человеку кажется малозначимым, ниспровергнутым. Между тем, эта сыновняя любовь к Богу защищает истинно верующих. Страх предполагает наказание. Тот же, кто любит, не боится кары. Любовь делает его бесстрашным. Есть две категории людей. Те, кто живет по закону любви, они не боятся; веруя, они носят в душе страх Божий, высший страх. Этот страх, начало премудрости, освобождает их от рабской боязни перед низшей силой и ее проявлениями. И есть люди, которые не могут возвыситься над законами страха.

XXIII

Трус делает себя трусом, трус ищет страх, герой делает себя героем, находя способы одолеть страх, или он вообще не видит его. Для труса есть те же самые возможности не быть трусом, как и для героя, – уклониться от геройства. Но речь идет не о частных случаях, а о поведении, о линии жизни.

Большинство людей трусливы не от рождения, виновата не их наследственность. Есть давление среды, обстоятельства истории. Все эти причины существуют, они позволяют утешаться: «Мы тут ни при чем, такова жизнь». Ответственность как бы снята. На самом деле страху чаще всего уступают, от мужества отрекаются. Короленко, направляя свои письма Луначарскому против большевистского террора, обвиняя коммунистов в жестокости, совершал лишь то, что считал для себя обязательным. В жизни он был мягкий человек, отнюдь не склонный к геройству. Почти так же субъективно не ощущали себя героями Иван Петрович Павлов или Владимир Иванович Вернадский. Они не осознавали собственную смелость или отчаянность вызова властям, выступая против репрессий. Ими двигало понятие чести, справедливости.

Трус подспудно всегда ощущает стыд как свою виновность в том, что он трус. Человек переносит свою несостоятельность, защищаясь ходовыми рассуждениями о том, что бесполезно было бороться, ничего изменить нельзя, такова система: «Я смирился, потому что все смирились».

Папа римский Иоанн Павел II выступил с призывом: «Не бойтесь!» Он имел в виду, что «Бог хочет спасти человека, хочет, чтобы человек осуществился в той мере, которую Он Сам замыслил для него». Поэтому, говорил он, не бойтесь переступить порог надежды, позвольте себя вести. «Чтобы освободить современного человека от страха перед самим собой, перед силами этого мира, нужно, чтобы человек лелеял в душе страх Божий».

Высший страх Божий был у пророков, они не боялись провозглашать истину Божью, чего бы это им ни стоило.

Повсюду, куда пошлю тебя, пойдёшь
И все, что повелю тебе, скажешь.
Не бойся никого. Я с тобою,
Чтобы тебя освободить.

(Иеремия I, 7–8)

И они действительно шли сквозь все препятствия, бесстрашно держались под пытками.

Страх Божий для них был надежной защитой от страха перед людьми. Они сделали выбор, для них страх перед людьми – недоверие к Богу.

Верующий человек держит перед собою эти примеры.

Скажи Господу: «Оплот мой, моя сила,

Ты – Бог мой, на Тебя уповаю!»

Ибо Он избавит тебя

От сети ловчей

И от язвы губящей,

Осенит тебя Своими крылами,

И под сенью перьев Его утаишься.

Щит твой и доспех твой – Его верность.

Не убоишься ни страха ночного,

Ни стрелы, во дни летящей,

Ни язвы, крадущейся во мраке,
Ни мора, губящего в полдень.

(Пс. 90)

Священное писание понимает Страх Божий как добродетель, как счастье и мудрость. Таков один из основных мотивов Ветхого Завета.

В Притчах сказано, что «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти».

«Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в Страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна».

«Боящийся Господа ничего не устрасится и не убоится, ибо он – надежда его».

XXIV

«Блаженна душа, боявшаяся Господа»

Книги Исаяи, Псалмы, книги Иисуса, сына Сирахова – все они углубляют, утверждают понятия Страх Божиего как средства от страхов земных, как возможности человека возвыситься над своими слабостями, ужасами.

Как бы обобщением всех высказываний звучат слова в Книге Исхода:

«И сказал Моисей Народу: не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили».

Новый Завет показывает, что все же следует бояться людей, если им поддаешься, теряешь внутреннюю свободу. В Евангелии от Матфея говорит Христос:

«...Не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узвано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях...» (10, 26–27).

Он говорит – бояться убивающих тело, но бояться надо убивающих душу.

Священное Писание уделяет много внимания человеческим страхам. философы, которые специально исследовали природу страха, – Кьеркегор, Шеллинг, Уайлдер – опирались прежде всего на Библию.

Обыденное сознание зачастую уверено, что религия держится на страхе наказания. Картины ада должны устрашать, удерживать от греха. Система простая – будешь хороший, добродетельный, – попадешь в рай. Плохой – в ад. Страх вечного огня, мук должен делать человека лучше. Нравственность диктуется страхом. Такое упрощение не раскрывает причин религиозной веры. Спасает не страх кары. Спасает вера в Бога, любовь к нему. Религиозный человек боится не ада, не Геенны огненной, он боится Бога. Страх Божий связан не с наказанием, верующего останавливают страх и стыд потерять Божию любовь. Для верующего этот страх сильнее котлов с кипящей смолой, в которых его обещают без конца варить. Обычный человек – это арена борьбы добра и зла, страха и отваги. Их поединки у каждого проходят по-своему. Достигнуть свободы можно, лишь преодолев страх. Одни отступают перед насилием, перед могуществом зла, его искусом, присоединяются к запуганному большинству, которое так необходимо власти. Другие вступают в борьбу за себя, за свою человечность. И те, кто не призывает Бога, борются в одиночку, борются с переменным успехом, но не прекращают своей борьбы. Не пассивное принятие судьбы, – свобода приходит к ним как активное принятие всей ответственности за свою судьбу. Быть самим собою, к чему бы это ни привело, – в этом смысле человек богоподобен. И эта свобода трудна и трагична, ибо не на кого и не на что перекладывать бремя ответственности за свои поступки.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

Страх. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!